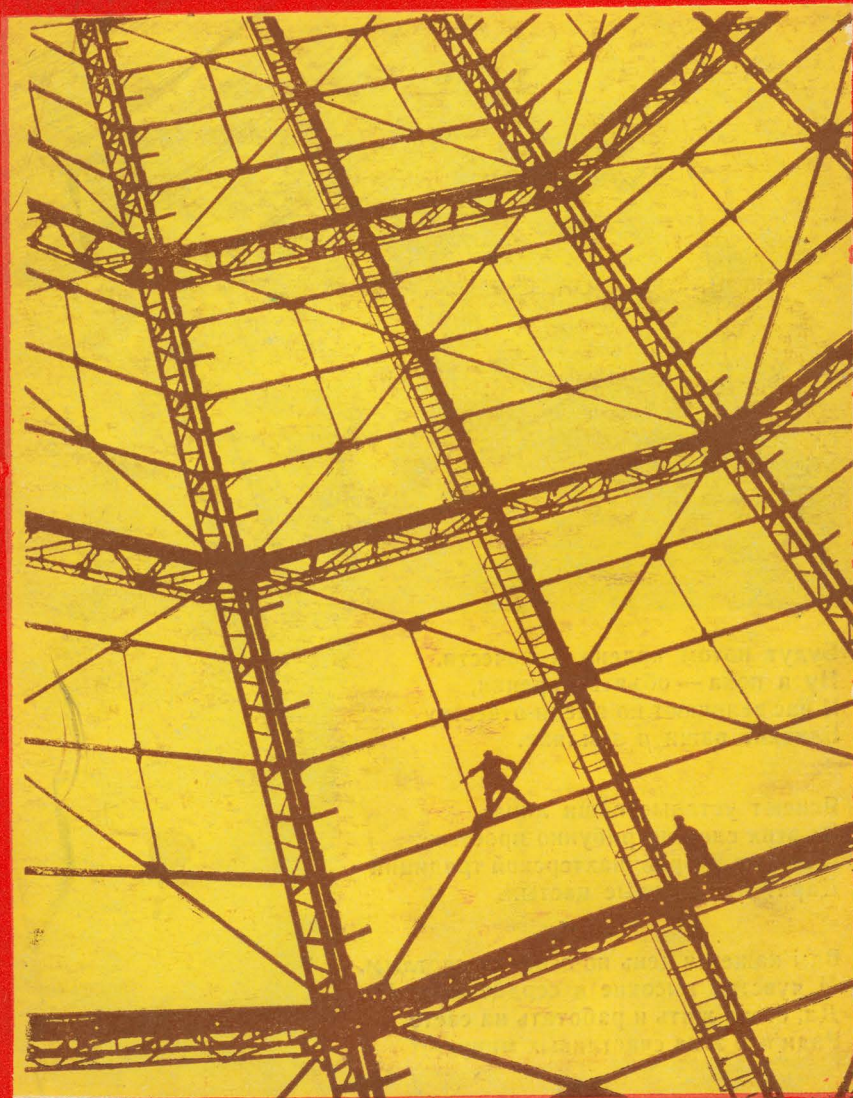


341426

ОГНИ КУЗБАССА №1, 1974



Фотокорреспонденту Анатолию Кузярину повезло — он оказался в шахтоуправлении «Юбилейное» комбината Южкузбассуголь как раз в тот день, когда бригада Героя Социалистического Труда Г. М. Смирнова выдала на-гора миллионную тонну угля.

Миллион тонн угля за неполные десять месяцев — такого еще не бывало в стране. А впереди у шахтеров новые рубежи — дать в 1974 году один миллион двести тысяч тонн угля.



ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТ-
ВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ, ОРГАН КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 26-й

№ 1 (42)



390335

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

Анатолий Кислицын. Девчонка. Частица бытия. Рядовая работа. Тропа	3
Олег Максимов. Молчание. Наедине. «Есть полно- чи в начале марта...»	9
Иван Полунин. Росчерк тучи. Зовет причал . . .	42
Раиса Чигракова. «Брожу родным поселком в ти- хий вечер...»	43
Вера Сергиенко. Музыка.	44
Людмила Бородинкина. У ручья. Банька.	45

ПРОЗА

Виктор Чугунов. Встреча. Рассказ.	5
Анатолий Кругляков. Такая долгая весна. Повесть	11
Екатерина Дубро. Самое главное. Рассказ. . . .	46

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Ю. Киселев. Кондома в осаде. 51

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. Сорокин. «Бунташное» село. 59

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

О. Павловский. Гусь — блюститель порядка. 65
Анатолий Амзоров. Журавушка. 66

ИСКУССТВО

Илья Половинкин. Юргинские древности. 68

СЛОВО — КРИТИКЕ

В. Копылов. Дождь целительное беспокойство. 81
Владимир Матвеев. «Первоисток» 86

НА ОБЛОЖКЕ

На первой стр. фото В. Кафо «Строительство градирни».
На третьей стр. Г. Емельянов. «Памяти товарища».

Редактор **В. М. МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия: **А. Ф. АБРАМОВИЧ, Е. С. БУРАВЛЕВ, А. Н. ВОЛОШИН, Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, Н. Н. ЗЕЛЕНИН, В. В. МАХАЛОВ, О. П. ПАВЛОВСКИЙ** (отв. секретарь).

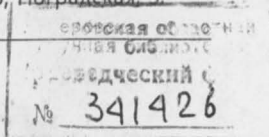
Адрес редакции: 650099, Кемерово, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи объемом до одного печатного листа не возвращаются.

Ведущий редактор Т. И. Махалова; художественный редактор Г. И. Кравцов; технический редактор Г. В. Адова; корректор Т. Е. Трусова

Сдано в набор 12.XII.1973 г. Подписано к печати 20.II.1974 г. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Усл. п. л. 6,44. Уч.-изд. л. 6,76. Тираж 5000. ОП00225. Заказ 11543. Цена 28 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово, Ноградская, 5.
Полиграфический комбинат, Кемерово, Ноградская, 5.

0 $\frac{0732-24}{145(03)-74}$ 30-74



© Кемеровское книжное издательство, 1974

ДЕВЧОНКА

В рассветный час, когда из города
к заводу ринется поток,
она спешит,
в петлице ворота
горит ромашки ободок.
Спешит, шурша спецовой синей,
тревожа утреннюю тишь,
прямая веточка российская,
талинка с реченьки Чумыш.
Она проходит, чуть смущенная,
а сердце в гордости поет.
Над ней восход встает короною,
и цех ей руку подает.



ЧАСТИЦА БЫТИЯ

Завод — работы храм:
гудят колокола
могучих молотов,
к заутрени сзывают,
конверторные свечи обжигают
высокие лекала-облака.
И я, багровый, радость не тая,
пасу жар-птицу на высоком блюде.
Здесь — солнце расколдовывают люди.
Здесь — моего частица бытия.



РЯДОВАЯ РАБОТА

По улице, заснеженной и гулкой,
Идет трамвай в комбинезоне красном.
Очкастый, словно близорукий книжник,
С усиьем многих лошадиных сил
Он сталкивает лбами наши мысли,
Сдвигает человеческие судьбы.
Он так умеет от души работать,
Что сыплются сиреневые искры
В подол дороги, окаймленный сталью.
Трамвай, ну, подари свою орбиту
И одержимость рядовой работой!

ТРОПА

Туда, где горные козлы
Бодают небо низкое,
Где ветер бьет из-за скалы
И звезды колют искрами,
Она ползла, как верный пес,
Как выучный конь, настырная,
Вскарабкивалась на откос,
Над пропастью выныривая.
Она картавила слегка,
Ведя меня над речкою,
И вышла к сакле кунака
Горянкой узкоплечею...
И дружба, как тропа, живет,
Вовеки не кончается:
Ведь от людей она идет
И к людям возвращается.

ВСТРЕЧА

РАССКАЗ

Пашку догнала подвода.

— Сядешь? — предложил мужик, хлопая рукой по краю телеги. Пашка сел. Мужик оглядел его и покачал головой. — Прожился, что ли? Пехом-то?

Пашка ответил: денег у него сколько хочешь, а пешком идет из идейных соображений.

— Экономить, значит, — решил мужик. — Это понятно...

«Во топор! — подумал Пашка. — Сам топор, видел топоров, а такого, видать, за колодой прятали...».

Был полдень. Горячий ветер бежал по неровному полю с густыми, еще зелеными хлебами. Пахло лежалой пылью; колеса телеги проваливались в нее, поднимая желтое облако.

— Куда путь держим? — спросил мужик, пощупав материал Пашкиных джинсов. — Штанишки-то не дже ловки для пешего хода.

«С твоими дерюгами не сравнить, — внутренне ошетинился Пашка. — Английские, за пару червонцев вырвал. Плохие, скажешь? Да застрелись...».

— К писателю тут одному на могилу иду, — сказал.

У мужика подобрели глаза.

— К писателю, говоришь? На могилку? Для каких целей?

Откровенно говоря, Пашка этого и сам не знал. С какой целью? Просто так: другие же ездят. Из цеха вот Степка Буднев к Сережке Есенину ездил. Стал на колени перед могилой, бутылку рядом: спи, мол, Серега, мы тебя не забываем. Целый час стоял...

— Стал быть, из любопытства, — рассудил мужик, выслушав ответ. Он хмыкнул, качая головой, и представился: Захар Голованов. Подумал и протянул руку. — Плотник я, свиноферму тут-кося строю, коня вот у директора взял: надо имущество привезть. Давечь у соседей оставил, и привезть некогда. Писатель-то родственником будет или как?

«Во колун! — снова возмутился про себя Пашка. — Думает, только к родственникам ездят. А я вот так просто... приду, стану на колени и скажу: спасибо тебе, друг, за всякие твои книги. И пусть люди смотрят...».

— Какой родственник, — ответил Пашка. — Сроду такие родственники не снились...

— Пошто к живому-то не приехал? — Голованов положил на колени вожжи. Его ноги свисали с телеги, грузно раскачиваясь. — К живому надо было... Живой-то, он, как ни говори, может, чего и дал...

«Смеется, что ли? — подумал Пашка. — Нищего нашел. У меня заработок три сотни в месяц. Может, я сам чего такого могу этому писателю дать...».

И, недовольный, переменял разговор.

— Наверно, совхоз слабенкий: подводу, смотрю, выделили, а не машину...

— Не-е, совхоз слава богу... — ответил Голованов, натягивая кепку. — А что касательно подводы, у меня имущества столько. Для чего же машину гнать? — Помолчав, он снова повернул на свое. — И время тебе не жалко к этому писателю ехать?

— А что мне оно, время? Его в карман не положишь. В телегу не запряжешь...

— Ишь ты, едрени-фени... — Голованов посмотрел на Пашку с таким выражением, будто оценивал. — Не запряжешь, не запряжешь... — Он пошаркал ладонь о край телеги. — Время-то, его сколько хочешь...

Потом ехали молча. Пашка косился на Голованова, а тот глядел на хлеба с мягкой улыбкой и думал о чем-то. «Мыслитель, — подковыривал Пашка. — Поди, врешь про свиноферму? Ишь, глаза-то... Как у мастера нашего — сквозь перегородку видит. Смотри, смотри: ты-то за имуществом катишь, а я к писателю... Есть разница? Ну, так вот...».

— Хороший хлеб, — сказал Пашка, сказал таким тоном, будто похвалил телегу, на которой сидел.

— У нас хлебушки всегда хороши, — подхватил Голованов. — Любо посмотреть. Так то и разговор, самая Россия здесь. Где ему быть лучше?..

— Дождика бы сейчас...

— Дождичка бы, конечно, в данное время очень было нужно. Без дождику плохо, пропасть все может. А сам знашь, какое богатство. Коли хлеб на столе, как говорят, так и стол — престол, а как хлеба ни куска, так и стол доска. — Он убил овода, севшего ему на руку, бросил в пыль под колеса и снова обратился к Пашке: — Я вот о чем думаю. Чего ты на евонной могиле делать будешь, у писателя своего? Ну, понятно, к отцу с матерью на кладбище приттить, посидеть, вспомнить — дело потребное, а к человеку, который тебя и знать не знал... баловство или как?

«Во пень! — окончательно решил Пашка. — Сам пень, видел пенков, а этот ни в какие ворота не влезет. Думаешь, объяснять буду? Есть у нас в цехе один такой Мокавей Леха: ему сколько говоришь, и все без толку...»

— Длинная история, Захар Петрович, — сказал Пашка, уклоняясь от прямого ответа.

— Нам спешить некуда, — успокоил его плотник. — Говори да говори. Сейчас ведь я как рассуждаю? И с жиру бесятся. Истино слово. Один мой знакомый мешок значков накупал и рад не рад. А что полезного? Ничего. Дурость. Раньше купцы этим развлекались, всякое барахло собирали...

«Смеется же гад, — неожиданно догадался Пашка. — Это он меня

вроде как бы с купцом сравнивает: с жиру то есть я начинаю беситься. Да застрелись ты... Я в отпуске: что хочу, то и делаю, захочу — к писателю, захочу — за границу. Сам-то плотником назвался, а, поди, бригадир какой, имущество собирает. Кулак!».

Вдали показалась березовая роща, а за ней выплыл из-за гряды лес, голубоватый, будто в папиросном дыму. Небо над лесом поднималось круто в ступеньках легких вытянутых облаков. Навстречу прошла грузовая машина, подняв клубы пыли. Захар Петрович закашлял, прикрывая кепкой рот, и показал на рощу.

— Завернем... Там водичка есть, коня напоить...

Они остановились под развесистой березой, выпрягли лошадь, напоили. Захар Петрович достал из сумки провизию, сел перекусить, угощая Пашку. Тот отказался. Разломив буханку, плотник посмотрел на густую траву вокруг и снова заговорил:

— Я все думаю: детдомовский, наверно, — едешь к чужому человеку?

«Чего привязался? — окончательно рассердился Пашка. — Нормальный я: папка есть, мамка. Ну что? К писателю иду... Нельзя? Тебе за имуществом можно, а мне к писателю нельзя? Если к писателю, то дурак?...».

— В отпуске я, — сказал Пашка.

Голованов приветливо улыбнулся.

— Давно с таким интересом не разговаривал. Все дела, как-то от жизни отстаешь... — Захар Петрович вскинул глаза, и Пашке показалось, что говорит Голованов вовсе не то, о чем думает. «Плотник, как бы не плотник... А может, и плотник, только сверхурочно еще и депутат или член обкома. Видишь, как подходит? Интерес у него к разговору...».

— Я все вот о чем, — продолжал Голованов. — Я так направление своих мыслей держу. Думаю, ты вот на могилу эту едешь... Может, кто направил тебя, послал то есть. Может, чего у тебя не хватало... Всякое может быть. Как со мной? Директор совхоза вызывает: «Где твое имущество, Захар Петрович? Без имущества ты какой работник? Без имущества ты моряк: сегодня на моем корабле, завтра тебя пфуй! — и пеной смыло. Езжай за имуществом...» А я так понимаю: его какое дело? На что ему мое имущество? На что? Спрашиваю у него: с имуществом я или без имущества? С имуществом беда одна. Его караулить надо, хлопотать. От имущества человек портится. Хоть брата моего возьми. Есть у меня брат Гришка... Так ведь что? Хороший был человек. А пристранился к бараклу, всякие благости поимел, хоромы да все благополучие, имущество это насправлял, и что? Пропал. Сейчас к нему в гости хоть не иди: и разувайся-то, и садись-то на этот стул, а не на другой. Что ты мои матушки, едрени-фени... Все это я директору рассказываю. И ты думаешь, что мне директор отвечает? Говорит: «Все равно вези имущество... И без него на глаза мне чтобы не показывался...» Я вот теперь и соображаю, может, и тебя какой директор послал? Тебе вроде эта могила нужна, как зайцу стоп-сигнал, а ты иди...

«Во бревно! — выругался про себя Пашка. — Объяснять ему или не объяснять? На могилу я еду, понимаешь ты, дуб, или не понимаешь? Там

писатель похоронен. Он книги про нас с тобой, дураков, писал... Ну, если ты такой грамотный, почему пустяка понять не можешь?».

— Наверно, ты сомневаешься: мол, плохо его похоронили? — снова спросил Голованов.

— Чего это его плохо похоронят? — сказал Пашка. — Не беднее нас с вами был...

— Не знаю, о чем и спросить еще, — неожиданно сдался Голованов и долго смотрел на буханку.

Пашка с Головановым расстались на повороте в Лежневку: Голованов свернул направо, а Пашка пошел прямо, радуясь, что наконец избавился от навязчивого спутника. Всю оставшуюся дорогу он издевался над Головановым, повторяя про себя его вопросы и придумывая новые.

Он добрался засветло. На кладбище у могилы писателя двое рабочих укладывали железобетонные плиты. Они рассказали Пашке несколько анекдотов, выдавая их за случаи из жизни умершей знаменитости, будто были с писателем на короткой ноге. Пашка рассказал о встрече с одним чурбаком: во выдавал, застрелиться, а сам не понимает, для чего я сюда приехал. Ну, топор! Видел топоров, сам топор, а этого, видать, из колодца достали...

После Пашка сидел на кладбище один. Над его головой устало шумел дуб. С мыска, прилипшего к обрыву, открывалась бесконечная даль, ввечеру с дымчатой поволокой, на границе, за лесом, сиреневая и зыбкая. Было что-то знакомое в этой дали, будто он уже видел ее раньше. Еще не засветились звезды, и небо, густо-синее над вершиной дуба, торжественно и немо смотрело на землю. Где-то близко шумела речка, и оттуда мимо могилы летали птицы.

Пашка долго смотрел на все это и вдруг открыл для себя святую простоту: он приехал сюда за много километров, потому что ему жаль умершего, потому что он читал его книги и любил...

«А тому чурбаку ничего не мог сказать», — подумал Пашка.

Его вывел из задумчивости шорох травы. Пашка оглянулся и увидел Захара Петровича. Голованов вышел из кустов, держа в руках кепку.

— Любопытство завладело, повернул лошаденку... Думаю, вот ведь как люди живут, а меня за имуществом...

...Они ночевали на краю кладбища. Светила луна, поливая синеватым молозивом густые онемевшие тополя. В траве спали гуси. Лошадь сонно переступала с ноги на ногу и вздыхала. Захар Петрович скрипел телегой и повторял:

— Ах ты, едрени-фени... Смотри, как, выходит, красиво-то...

МОЛЧАНИЕ

Трещат в печи смолистые дрова,
скандалит выюга зло и оготело.
И позабыты нежные слова,
которые тебе сказать хотел я.
Уж ты меня, пожалуйста, прости
за то, что стал я молчалив немного,
но все мои тропинки и пути
меня приводят к твоему порогу.
Так ничего тебе и не сказал,
в словесных дебрях без толку кочуя.
Внимательней взгляни в мои глаза —
поймешь без слов все то, о чем молчу я.
Я шел к тебе по тысяче дорог,
пути кончались — шел по бездорожью.
Любимая, ну разве знать я мог,
что ты давно меня искала тоже?
И вот нашла. Сидим мы у огня.
Я о тебе в душе слагаю гимны.
И если ты уйдешь вдруг от меня,
мир будет жить. Я без тебя — погибну.

НАЕДИНЕ

М. ПЕРЕВОЗЧИКОВУ

Опять ударит ветер в двери,
Взметнется птицей от угла,
И ты захочешь вдруг поверить
В приход июньского тепла.
Еще февраль над миром кружит,
Но ты сквозь сгустки темноты,
В хитросплетенье снежных кружев
Рассмотришь белые цветы.
Призывно вскрикнут створки окон,
И ты увидишь: вдалеке
Заря, как огнебрюхий окунь,

Лениво плещется в реке.
И безраздельно с летом слиться
Захочешь ты... Да только вот
Крик замерзающей синицы
Тебя в действительность вернет.



Есть полночи в начале марта —
Недолго и сойти с ума.
Вокруг такая волчья тьма,
Что жизнь поставлена на карту.
И вдруг, как робкая мечта,
Внезапно — без звонка, без стука —
В твою квартиру входит та,
Из-за которой эта мука.
Тихонько ступит на порог,
Замрет на нем, как у причала,
И ты поймешь, что в ней начало
И с ней конец твоих дорог.
— Прости... Иначе не могла...
Нелепо, глупо жить в разлуке...
И ты, забыв про боль и муки,
Готов поцеловать ей руки —
Так она вовремя пришла.
Пускай хоть на короткий час,
Но ты уж полон новой силы.
Спасибо им — простым и милым,
От всех невзгод хранящим нас.



ТАКАЯ ДОЛГАЯ ВЕСНА

ПОВЕСТЬ

1 В этом году моему отцу исполнилось семьдесят лет, и все мы — я, сестра Людмила и наши семьи — готовились отметить эту дату. Мы живем в разных городах, но заранее списались и договорились преподнести сюрприз отцу — нагрянуть всей оравой в один день и час... Но нашему плану не суждено было сбыться.

Вечером, когда я смотрел телевизор, раздался звонок. Нехотя поднимаясь, иду открывать. Почтальон с порога протягивает телеграмму. Наверное, думаю, от старшего сына из армии. Он недавно писал, что за отличную службу получил краткосрочный отпуск и скоро приедет домой. Беру телеграмму, читаю: «Выезжай немедленно. Отец серьезно болен. Мама». Гляжу на часы: до отхода поезда около часа. Жена вертит в руках телеграмму, а я достаю из-под кровати чемодан, вытряхиваю из него игрушки и морские раковины, которые мы с сыном купили в Феодосии. Бросаю в чемодан белье, сажусь к столу и пишу записку. Жене говорю: «Отдашь в приемную...»

— Ну, сынок... — обнимаю и целую сына, который уже сидит в моем кресле и отмахивается от меня, будто чего-то стесняется, к тому же идет военный фильм, а он ужасно любит смотреть про войну. — Ну, Игорек, поцелуй же папу.

Он обнимает меня за шею, крепко прижимается личиком, целует глаза, щеки так, как целует его мама. А я думаю о том, что нас в свое время приучали быть твердыми, без сантиментов, без всяких бабьих штучек. Слезы, боль, ласка — чепуха все это. Нужна, мол, скупость в выражении чувств.

Выхожу на улицу. Вокруг белым-бело. Днем майское солнце пригревало, а к вечеру ударил мороз, выпал снег, который покрыл землю тонким слоем. Снежок поскрипывал под ногами. На мне новые туфли, шерстяные носки, а ноги мерзнут. И суставы всю неделю болели — и вот заморозки, а было совсем тепло. Все-таки середина мая. Давненько в эту пору не выпадал снег, пожалуй, последний раз это было в 1942... Ровно тридцать лет назад.

Только тогда снег был мягче, пушистей, и выпало его видимо-невидимо. Мы сидели на уроке и смотрели не на учителя, а в окно. Снег валил хлопьями. Все ребята-первоклашки, в том числе и я, пришли в школу босиком. На дворе стояла жара. И вдруг снег...

Школа была деревянная, бывшая контора леспромхоза, а нашу, двухэтажную, каменную, заняли под казарму. После уроков мы ходили туда и смотрели, как новобранцы обучались на футбольном поле. Они кололи штыками чучела, прыгали через барьер и ползали по-пластунски под колючей проволокой. И мы вдоволь потешались над теми, которые цеплялись за колючки штанами.

Однажды, когда мы сидели на уроке русского языка, на отвале взорвалась бомба, и хотя он был в трех километрах от школы, в классе вылетели стекла. Никто из учеников не успел испугаться, кроме второгодника Васьки, забияки и драчуна. Он выскочил из-за парты и бросился бежать. Раздался хохот, и Васька, взявшийся было за ручку двери, остановился, вернулся на свое место. Он смущенно уткнулся в задачник и до звонка не поднимал головы.

Снег... снег... В конце четвертого урока к школе потянулись родители. Несут под мышками свертки: пальто, шапки, обувь. Я знаю, что ко мне никто не придет. Мама на работе, сестренке четыре годика. Может быть, соседи догадаются? Например, тетя Лена? Звенит колокольчик. Мальчишки захлопали крышками парт. Учительница попрощалась с нами. Появились родители, а я пошел домой.

Надо мной смеялись, бежали следом дошколята, кричали: «Дурачок, по снегу босиком идет...» Я шел, стиснув зубы, и сумка, как торба, болталась у меня за спиной. Дома я залез под одеяло, стучал зубами, тело сводило... Очнулся в больнице и ничегошеньки не мог понять. Рядом стояли кровати, на которых такие же мальчишки. Сестра, вся в белом, склоняется надо мной, гладит по голове, приговаривает: «Вот и хорошо, вот и хорошо...»

Да, бегут мои годочки. Став сорокалетним, гляжу на себя как бы издали. Несколько лет назад был я у родителей. Увидел из окна купейного вагона березовые леса, горы Кузнецкого Алатау, поросшие тайгой, защемило сердце.

Помню, обошел все детские местечки, побывал в старом квартале города, а потом долго сидел на скамейке у ворот нашего дома. Лето стояло жаркое. Ставни были прикрыты, улицы будто вымерли. Сидел один, пока не зашло солнце. Вернее, оно спряталось за тучу, которая состыковалась с горизонтом. Надо мной застыли легкие розовые облака. Впереди тихо урчала вода, уходя под мостик. На том берегу убирали хлеб комбайны. До меня доносился тихий шум моторов.

2 Вот и дом, почерневший от времени. Ограда, которой он окружен, местами починена: новые доски отличаются от старых свежей краской. За оградой садик: несколько кустов малины, четыре яблони и крыжовник, черноплодная рябина — все это сажал отец. По другую сторону дома — грядки овощей. С солнечной стороны под окнами мама сеет мак и высаживает цветы. С весны и до поздней осени дом утопает в зелени.

Стою на пригорке, смотрю на дом, и отчего-то ноет сердце. Дом еще крепок. Его строили после войны. Отец, когда вернулся домой, получил ссуду, облюбывал место рядом с быстрым ручьем и березовым кодом, за

которым начинались поля совхоза «Сосновский», и начал строительство. Худой, подвижный, он работал тут по вечерам и в выходные дни, в отпуск. С первым снегом мы въехали в новый дом, пахнувший стружкой и краской.

Помогал строить и я. Подавал инструмент, таскал воду, просеивал песок и шлак для раствора, в общем, делал всю посильную работу, на которую был способен одиннадцатилетний мальчишка. Иногда на стройку приходили дядя Федор с сыном Михаилом, которому было двадцать три года. Он успел немножко повоевать, имел награды. Мне нравились его рассказы о войне, бывало, не отходил от него часами. Я смотрел на него влюбленно, когда он стучал в грудь и говорил: «Мы, сибиряки, подавали фашистам жару», — показывал, как косил из пулемета вражеские цепи, и мои глаза загорались тогда лихорадочным блеском.

Отец, раскладывая еду на свежесрубленном столе, который стоял на лужайке, усмехался, хитровато поглядывал то на меня, то на Михаила: давай, мол, заливай мальчишке. А потом и сам начинал рассказывать.

Рассказывать отец любил. Он пришел с войны с орденом и тремя медалями. Часто в нашу комнату на старой квартире набивалось много народу. Отец обычно стоял посередине комнаты и был суровым и мужественным. И замечал я, как он еще крепок, какие у него сухие, жилистые руки с бугристыми мускулами.

Отца не перебивали. Женщины закрывали лица платками, а некоторые сидели с окаменевшими лицами, боясь шелохнуться. Только мужчины, которые были на войне, часто выходили покурить и, возвращаясь, торопливо усаживались на скрипучие табуретки. Заканчивал отец свои рассказы всегда неожиданно. Вдруг замолчит, задумается, тихо дойдет до окна, распахнет, смотрит на улицу, а когда вернется к столу, в комнате, кроме меня, сестренки и мамы, никого нет. Тогда он садится писать. Берет ручку, бумагу... В комнате тесно, душно. Электрический свет мешает спать. Мама ворчит:

— Ложился бы. Кому это надо-то, кому надо... Ну, пережил, испытал, все забудется, зарубцется...

Отец поворачивался, смотря на маму, кивал в нашу сторону:

— Им надо, детям...

Писал он с перерывами лет десять. Сначала на длинных бумажных лентах, нарезанных из мешков, в которых привозили на стройки цемент, а потом в ученических тетрадях. Со временем все меньше находилось людей слушать его воспоминания. Может, оттого, что он теперь читал, написанному как-то меньше верили. Однажды машинист парового крана Панков, мужчина солидный, рассудительный, всю войну проработавший в железнодорожном цехе, где отец был начальником смены, махнул рукой и сказал:

— Оставь это, сосед. Былое быльем поросло. Не бери душу себе и людям. Народ забывать войну стал, понимаешь, а ты все свое...

Панков зевнул, посмотрел в пустой стакан и, видя, что пить больше нечего, поднялся.

— Бывай, сосед. Мне пора. Завтра-то в первую...

Когда за ним закрылась дверь, я обиделся за отца. Лицо Панкова —

круглое, гладкое, стало мне противным. Ну, посидел бы да послушал, не убыло бы. Раньше лезли в комнату, никто и не звал. Теперь только и слышишь: «Время нынче другое...» Может, и так. Однако в печати до сих пор появляются сообщения о судах над предателями Родины и военными преступниками.

Читая справедливые приговоры, отец удовлетворенно кивал, смотрел в темноту окон, тихо говорил: «А эти... Простить за давностью? Нет, ни забывать, ни прощать нельзя». Как-то он сколотил фанерный ящичек, вложил в него рукопись и отнес на почту. Месяц ходил веселый, напевал фронтовые песни. Работа у него в руках спорилась. Он плотничал, опрыскивал сад, начал копать фундамент под баню.

В конце месяца рукопись пришла обратно. Отец долго и скучно держал перед собой письмо, прикрыв левой рукой глаза, а затем поднялся, нашел небольшой чемоданчик, набил его тетрадами и вышел из комнаты. Вернулся он скоро. В его руках ничего не было.

И с этого дня отец сильно изменился. Он приходил с работы, и я не узнавал его: лицо желтое, морщинистое, глаза потускнели. Он о чем-нибудь спрашивал меня, не вслушиваясь в ответ, вертел газету в руках, читал без интереса. Мне иногда хотелось подойти к нему, обнять, как-то отвлечь от мрачных мыслей, но он не очень-то баловал меня лаской. «Давай, сынок, без этих нежностей, — говорил он мне. — Главное, чтобы ты рос крепким — и телом, и духом. Помни: выживают сильные...»

Много позже, когда я приезжал домой на денек-два, отец не отходил от меня. Он говорил, говорил, а я почти не слушал, только улавливал отдельные фразы: «Вьетнам, Сонгми, Ближний Восток, Ангола... Бомбят, убивают... Неймется им, да понимают ли они, сознают ли, что делают?»

3 Подхожу к воротам, оглядываюсь на пригорок. С него, бывало, зимой лихо съезжал на санках и вкатывался прямо во двор. Просовываю руку в отверстие и откидываю задвижку. К крыльцу ведет дорожка из бракованных бетонных плит. У крыльца лежит березовый веник. Иду мимо пристроек. В той вон стаечке держали поросенка, кур, а в той — уголь и дрова, а там — баня. Подхожу к крыльцу и сталкиваюсь с мамой: увидела в окно и выбежала навстречу.

— Здравствуй, сынок, — она протягивает руки и обнимает меня. — Отец-то плох, не дождется, когда приедешь...

Мама стара. Она располнела, волосы редкие и совсем седые. Когда-то она гордилась тем, что моложе отца на десять лет. Я как-то и не заметил, когда она состарилась.

Прохожу в горницу. Отец лежит на кровати. Увидел меня, улыбнулся, сказал довольно бодро:

— Здорово, сынок. Быстренько прикатил. Молодец. Думал, что не увижу...

— Ты, отец, не паникуй... Отлично выглядишь, — ответил я, сбрасывая пальто. Смотрю на него: осунулся, постарел, глаза потускнели, руки беспомощно лежат на кровати, и я понял, что этот бодрый тон стоил ему больших усилий. И вообще я всегда удивлялся его выносливости, а ведь

он был среднего роста, худощав, с тонкими руками. Не помню, чтобы он болел, жаловался на усталость, хотя порой и замечал: на пределе отец, вот-вот свалится. Но проходило время, и он вновь улыбался, был весел, свеж и бодр. Такие, как мой отец, если уж свалятся — то веришь — это серьезно.

Вешаю пальто и пиджак в допотопный шкаф, купленный еще до войны. Не раз предлагал маме выбросить эту старую и громоздкую мебель, купить новую, но она только хмурилась: не понять тебе, дескать, сынок, вы живите, как живете, а мы уж по-своему. И всегда, переступая порог дома, я сталкивался с какой-то простотой и мудростью, этакой крестьянской расчетливостью. Так было десять, пятнадцать и двадцать лет назад.

Мама накрывает на круглый массивный стол. У нее одышка. Помню ее молодой и красивой. В войну она работала мотористкой на заводе. Уходила рано утром, когда мы с сестренкой еще спали, и приходила поздно ночью. Оставляла на день продукты, и я варил еду — пшеничную кашу на растительном масле и картошку... Мяса не было. Картошки иногда тоже не было, и тогда мы голодали. Людка плакала и просила есть.

Не могу забыть, как мама побила меня. Было воскресенье. Я пришел домой в слезах: в очереди пацан вырвал у меня из рук продовольственные и хлебные карточки, и убежал. Мама порола меня ремнем, плакала сама, редела Людка, а я молчал. Соседи отобрали меня у впавшей в беспамятство матери. Этого я ей долго не мог простить. В тот злополучный день мне исполнилось восемь лет.

Ох, тяжело нам пришлось без карточек.. Соседи помогали, как могли. И если я кому благодарен, то это моему другу Толяну, молчаливому, изобретательному и душевному, который постоянно подкармливал меня и сестру, хотя им самим жилось несладко. Осенью мы с мамой выкопали картофель, который сажали в поле, вывезли на тележке, ссыпали в подвал. Теперь и голод был не страшен. Эх, картошка, родная, сибирская! Надо бы ей какой-нибудь памятник придумать. Что бы мы делали без нее, чем бы питались?

Сажали картофель все. Транспорта никакого. Тащиться надо было за десять километров, по бездорожью, запрягшись в тележку. Да не раз, не два, а три-четыре. Мама возила одна. Сестренка сидела дома, а я ночевал в поле, сторожил картошку. Сколько слез пролил — и страшно было, и холодно, хотя укутывала меня мама тепло: усаживала на шубейку между кулей, сверху стелила одеяло, и получалась маленькая берлога. Сидел я в ней, проклиная эту самую картошку, которой, однако, только и был сыт.

— Садись, Андрей, за стол, — слышу, наконец, голос мамы.

На столе — сковорода с жареным картофелем, вареная говядина в алюминиевой чашке, деревянная разрисованная ложка. Тут и молоко, сметана. Чуть в сторонке — графинчик с водкой и соленья: помидоры, огурцы, грузди. Бог ты мой, как давно я не был дома!

— Как друзья поживают? — спросил я у мамы, усаживаясь за стол.

— Только вчера был, о тебе все расспрашивал. С отцом посидели... Сходил бы к нему... Уехал куда-то и живешь бирюком...

В ее словах я уловил укор... Что поделаешь, если у меня так сложилось. А для мамы мой друг всегда Толька, хстя он давно уж Анатолий Иванович, заслуженный сталевар. Он недавно сварил сталь новой марки, и его наградили. Об этом я узнал из областной газеты.

4 С Толяном мы дружили со второго класса. Он рос тихим, застенчивым, был крупным, но, несмотря на это, его часто колотили на переменах. Как-то он пришел ко мне во второй «б», стал у моей парты, размазывая слезы. Я поднялся и пошел за ним во второй «а». До звонка оставалось около минуты. Он показал мне обидчика, я смело подошел к нему и влепил пощечину. Это было неожиданно. Драчун моргал глазами, я же, погрозив классу кулаком, смылся.

Толян привязался ко мне с тех пор. Его отца — дядю Ивана — на фронт не взяли. Он работал машинистом паровоза. У Толяна были братишка Игорек и сестренка. Я часто ходил к ним. Дядя Ваня и тетя Поля относились ко мне хорошо.

Нежданно-негаданно на эту семью свалилось несчастье. Холодным осенним вечером заболел Игорек. Всю ночь он метался в жару, а утром помер. Хоронили его всей улицей. Как-никак, а мы жили дружно, знали друг друга. Наши родители, уходя на работу, поручали соседям смотреть за детьми. Особенно добра была к нам тетя Поля. После смерти Игорька, бывало, соберет детвору, приведет, домой, поставит огромный чугунок картошки и скажет, утирая глаза передником:

— Ешьте, дети. И смотрите, не бегайте босиком. Вон как на улице задувает...

Померла тетя Поля. Через месяц, как Игорька похоронили. Она работала на путях, подняла что-то тяжелое... Общее горе сблизило нас. Жили мы рядом, в одном подъезде. Дом наш стоял у базара, который и поил нас, и кормил. Летом мы торговали водой, а на вырученные деньги покупали еду.

Как-то Толян принес целый туесок сметаны. Мы позвали сестер и хлебали ее ложками. На улице он признался, что стащил туесок на рынке.

— Ты в своем уме? — испугался я.

— Когда сметану ел, чего думал? — усмехнулся он. — Идем, покажу, как это делается...

Он протянул мне руку, и мы пошли с ним на рынок. Там, пробившись через толкучку, мы подошли к ряду. Толян присел, отогнул фанеру и в образовавшуюся брешь сунул голову. Затем он повернулся ко мне, подмигнул, нырнул под прилавок. Я стоял и ждал, что будет дальше. Мимо проходили мужчины и женщины — с сумками, авоськами, холщовыми мешками, озабоченные, крикливые, перепиравшиеся с торговцами. На прилавках торговцы разложили иголки, лезвия, пугачи с глиняными пулями, игрушки, вареную картошку, пирожки, сметану в банках и туесках, мед, семечки... Здесь можно было купить все.

Вылез Толян. В его руках была сумка. Он кивнул мне и пошел к забору. Перебросил через него сумку, полез сам, я за ним. Мы очутились

во дворе клуба, где густая трава, росли кустарники и деревья. В сумке оказался деревенский сыр и хлеб.

Вечером Толян учил меня бесшумно лазить под прилавками. Мне казалось, что я научился этому и переплюну друга, но жестоко ошибся. На следующий день я залез под прилавок, увидел два бидона — большой и маленький. Я пожалничал, взял большой, в котором оказался мед, потащил его к дырке, но силенок у меня не хватило, и я уронил бидон на ноги торговке. Она взвыла от боли, выволокла меня за волосы, а подошпевший хозяин начал лупцевать бичом. Я вертелся волчком, а он стегал. Тут закричала его жена:

— Караул, деньги украли!

Пасечник оставил меня, бросился к жене, а я тем временем перемахнул через прилавок. Иду домой и реву. У подъезда дома встретил ухмыляющегося Толяна, поднял рубашку и показал ему кровавые полосы на спине.

— Ладно, не будем больше, — вздохнул Толян. — У-у, жмоты... Идем, Андрюха, на чердак, покажу тебе чего-то...

Мы забрались на чердак, подошли к окну, и он вытащил из кармана пачку денег.

— Живем... Пока он тебя стегал, я у тетки и хапнул, — бесхитростно начал рассказывать Толян. — Лупцуй, думаю, подольше, а сам через забор перелез. Они, когда ты бидон поволок, близко к дырке сидели, деньги по пачкам раскладывали — сотни сюда, полсотни туда, тридцатки... Просунул я руку — хвать одну пачку...

Это было летом 1944 года. Меня и Толяна после случая с бидоном дразили «мазуриками», хотя мы больше под прилавок не лазили. А все Васька Гаркал разболтал: видел, как меня пасечник охаживал. Васька часто шатался по рядам с протянутой рукой. Ему иногда подавали, а зачастую гнали. Завидя нас, он кричал, свистел. Мы убегали от него, но он ходил за нами по пятам. Мы его крепко колотили, но и это не помогало: он был какой-то нечувствительный к боли. Тогда мы от него откупились. Толян отдал ему последнюю сторублевку, и у Васьки глаза округлились. Он мял купюру, нюхал, смотрел на свет и был смешон в своей рваной рубашке, залатанных штанах, с холщовой дырявой сумкой на плече.

Хуже было с ребятами постарше. Они взяли моду шпынять нас. Особенно доставалось Толяну. Он ходил с синяками. И мы начали мстить. Обидчикам нашим жилось неплохо. Их отцы имели броню. Они не голодали, щеголяли в американских куртках и штанах с застежками-молниями, у них были старшие братья, которые за них заступались в школе.

Мы с Толяном выслеживали обидчиков по одному на речке, в березовом лесу и лупили. Нас стали побаиваться, никто теперь не играл с нами, а мы в их дружбе и не нуждались. И позже, когда вернулся мой отец, а отец Толяна женился, взяв в дом вдовушку солдатку с сыном, нашим ровесником, мы нашли себе убежище на чердаке. Там мы читали книги, не интересуясь именами авторов, не запоминая заглавий. Я потом много читал, но никогда не читал с таким бешеным увлечением, как в то далекое детство. Незнакомый, неясный, малопонятный, но удивительно пре-

красный мир вставал передо мною. Я плохо разбирался в страстях и мыслях человеческих, но они подымали во мне бурю, с которой я порой не мог совладать. Я ходил, как чумной, ничего не видя, улыбаясь чему-то своему, сокровенному.

Теперь ребята дразнили нас «трахнутыми», а когда мы поступили в ремесленное училище, — «паршивыми фэззушниками». Толян попал в группу сталеваров, а я — в группу слесарей. Это меня обидело. Хотя он был крупнее, но я все-таки половчей. Ведь не он за меня заступался. Ему больше доставалось. На меня редко нападали. Но разве объяснишь все это приемной комиссии? Я был самолюбив и страдал. В наших отношениях появился холодок. По моей вине.

5 Я сижу у кровати отца. Рассказываю ему о своей работе, жене и сыне. Мама убирает со стола и прислушивается к нашему разговору. Отец улыбается, когда говорю о сыне.

— На будущий год, говоришь, в школу? — отец смотрит куда-то в сторону. — Читает уж всю. Неужто не доживу?.. — он смотрит вопросительно. В его глазах боль и тоска. Сам отвечает: — Доживу, как пить дать...

— Конечно, отец. Сам рассказывал, что дед и прадед жили по девяносто...

— Дак это ж кержаки были... На вольных-то сибирских хлебах да на медку липовом, опять же охота, промыслы. Они того не испытали, что досталось на мою долю. — Отец глазами показал на потолок. — На чердаке тетради-то лежат. Двадцать годочков уж... Забери-ка. Внук подрастет — читать будет.

Выхожу на улицу, поднимаюсь по приставленной лестнице на чердак. Внук, говорит, читать будет. А если он не захочет?

Совсем недавно показывали многосерийный военный фильм. Я сидел и над некоторыми эпизодами плакал, а зал был почти пуст...

На чердаке валялись старые книги, поломанная мебель, порванные сумки и чемоданы. Переворошив рухлядь, нашел маленький чемоданчик, весь заплесневелый. Поднял, а у него отвалилось дно. Посыпались полустлевшие тетради. Те, которые лежали сверху, уцелели. Я собрал все тетради, спустился вниз. В бывшей моей комнате разложил их на столе и стал просматривать. Две трети погибло. Как жаль, что рукопись сохранилась не полностью.

Я зашел к отцу, он спал. Мама сидела на табуретке и вязала носки.

— Лег на днях на диван, стонет: помираю... Я за Иваном сбегала, отцом-то Толькиным. Пришел Иван, посидел малость и за врачом, — начала она тихо. — Приехала врач, строгая худая женщина. Осмотрела она отца, вызвала меня сюда, размяла длинными пальцами сигарету, закурила, потом и говорит: «Паралич у него...» и так это посмотрела на меня жалостливо, куда строгость ее подевалась, спросила: «Дети у вас есть?» Сын, отвечаю, дочь — в разных городах живут. Давайте, просит, адрес вашего сына, телеграмму pošлю ему...

Я прошел в свою комнату, лег на кровать. Ни о чем не хотелось ду-

мать. А тетрадки надо увезти домой, как велел отец. Вот они — лежат на столе и пахнут плесенью. Беру сверху, по порядку, начинаю читать, с трудом разбирая написанное, потому что во многих местах чернила расплылись, а кое-какие страницы вообще прочесть невозможно.

Из первой тетради

...27 мая 1942 года нашу часть окружили немцы. После нескольких ожесточенных боев мы остались без боеприпасов и продовольствия. Бойцы залегли в логу. Отстреливаться нечем. Спасаясь от гусениц фашистских танков, к нам подходят окруженцы из других подразделений.

Лог обложили танки. Из рупора несется:

— Руська зольдат! Сдавайсь!

Мы лежим, уткнувшись в землю. Никто не поднимается. Надеемся, что подойдет подкрепление. Заговорили пулеметы, и громыкнули пушки. Колыхнулась земля. Застонали раненые.

Над нами закружил самолет. Полетели листовки: «Шестая и седьмая армии разгромлены. Москва пала. Сталин бежал за Урал...»

На вторые сутки раздается команда:

— Руська зольдат есть плен! Выходи!

Поднимаемся. Некоторые, обессилев, цепляются за товарищей. Идем на запад. Сзади раздаются выстрелы. Немцы добивают раненых, которые не могут идти. В душе пустота. Мозг сверлит одна мысль: как бы не упасть. Безвыходность угнетает.

Нас строят в колонну по пять человек. Крики: «Шнель, шнель!» Но колонна движется тихо. Немцы бьют пленных прикладами. Из нашей группы двое выходят на обочину и тут же падают, скошенные автоматными очередями.

День жаркий. Во рту пересохло. Внутри горит. На пути попадают ручейки, но пить нам не позволяют. Когда проходим по селам, женщины ставят на дорогу ведра с водой. Немцы опрокидывают их.

К вечеру нас подогнали к реке. Место низкое, заболоченное. Ложимся в грязь. Ночь ужасная: холод пронизывает до костей, комарье заедает.

С восходом солнца поднимаемся. Грязные, с опухшими лицами, шатаемся от усталости и от ран. Нас снова строят в колонну. Я поддерживаю земляка, соседа Петра Гаркала. Жили рядом, сыновья у нас погодки. Мы покаялись держаться вместе. Он висит на моем плече, еле волочит ноги. Хорошо, что не ранен. Просто обессилел: ведь не ели несколько суток. Сбоку, на бугре, эсэсовец нетерпеливо поглядывает в нашу сторону.

— Быстрее, Петр, быстрее, — говорю ему и не узнаю своего голоса. — Иначе для нас это болото станет могилой.

— Не бросай, ради бога, вот только ноги разойдутся, — шепчет он лихорадочно.

— Скажешь... бросить... Васятке твоему как в глаза смотреть буду? — говорю, а сам думаю: не завалиться бы. Тогда конец. Нет, выкарабкаемся. Верю, что вернусь домой.

Петра начинает рвать. Выволакиваю его на дорогу. Пристраиваемся в хвост колонны. Эсэсовец вопросительно смотрит на нас. Презрительная гримаса застыла на его лице-маске. Перед моими глазами прыгает круглое отверстие с мушкой. Фашист будто играет с нами. Заходит сбоку, спереди, сзади. Видит ствол автомата и Петр. Он выпрямляется, отпускает мое плечо, шагает рядом. Ему, видно, стало легче. Фашист разочарован. Ждал той минуты, когда упадет Петр, и тогда он нажал бы гашетку. И все-таки выстрелы раздаются. Мы вздрагиваем. Скашиваю глаза: на дороге лежат двое пленных. Они шли последними, отставали...

Километров через пятнадцать привал, садимся на дорогу. Метрах в сорока — большая дождевая лужа, и я беру пару котелков, подхожу к офицеру. Офицер понял, кивнул. Со мной пошли еще несколько человек. Едва подошли к луже, раздается команда, колонна поднимается. По нам открывают огонь. Бросаемся к колонне... До нее добежал я один...

В полдень нас остановили. Подвезли продовольствие. Фашисты берут хлеб и швыряют в колонну. Один из них ногой подбрасывает булку, жонглирует ею, как футболист, и с ходу, с разворота, через себя, бьет по толпе, как по воротам. Сбивая друг друга с ног, пленные ловят хлеб, кроша его, таптыкают в грязь. Конвоиры хохочут.

— Отставить, — кричит один из пленных командирским голосом. Он стоит близко от меня, и я вижу, как порозовели его бледные щеки, как ходят желваки и двигается кадык. Он поворачивается к фашистам, глаза его горят ненавистью. — Они потеряли все человеческое. Из нас хотят сделать животных...

Разжимаю кулак, и на землю посыпались грязные хлебные крошки — все, что я смог добыть. Что же это мы делаем? Как поддались минутной слабости? Голод?.. Колонна замерла. Мы смотрим на хлеб, лежащий в грязи, молчим. Спазмы сжимают желудок. Некоторые стали падать в обморок. Появился офицер.

— Коммунист? — ткнул он пальцем в грудь красноармейца, подавшего команду. — Политрук?..

Не дождавшись ответа, офицер что-то сказал охране. Двое схватили пленного, посадили в мотоколяску и увезли.

Видя, что спектакль не получился, фашисты засуетились, быстро организовали раздачу продуктов. Пленные санитары получили пайки и стали кормить раненых и больных. Некоторые из них подходят к кухне и получают сами. Вдруг офицер задерживает двоих, разматывает на них бинты. Ран не оказывается. Он ставит пленных около себя, дает обоим по куску хлеба с маслом. Когда они их съели, офицер напоил пленных кофе из фляжки, а затем выхватил пистолет и застрелил обоих. Нам он сказал, что так будет с каждым, кто попытается обмануть немецкого офицера...

Из второй тетради

...До пересыльного лагеря под Харьковом дошли самые крепкие. Было темно, когда нас туда загнали. Шел дождь. Мы попадали от усталости на землю. Навеса — никакого. Я забылся. Состояние бредовое. Вокруг сто-

нут, кричат, плачут. Петр Гаркал чему-то тихо смеется. Я толкаю его в бок, и он затихает. Нас тут несколько тысяч.

После двухнедельного «карантина» я попал в группу для отправки в другой лагерь. Петра Гаркала отправили днем раньше, с другой группой. Мы успели обняться с ним. «Пропаду я, пропаду, — отчаянно выкрикивал он из колонны. — Прощай! Сыну передай...» Я не расслышал, что должен был передать его сыну Васятке, удивился: он, оказывается, верит, что я отсюда выберусь живым. Он и на призывном пункте мне говорил: «Ты, Пичугин, крепкий. Закваска у тебя кержацкая — все выдюжишь...»

Колонну подогнали к железной дороге, где стоял состав, и посадили в товарняки. К нам в вагон натолкали столько, что мы стояли вплотную. Когда закрыли дверь, сразу стало душно. Послышались стоны и вопли: «Задавили!..»

В Харькове открыли дверь и бросили десять буханок хлеба. Парень схватил булку, и пока ее у него отбирали, успел съесть половину. Через несколько минут он закорчился в судорогах и умер. Мертвых из вагона не выносили, и они стояли вместе с нами. На Житомирском вокзале нас высадили, привели в лагерь, который находился в бывших военных казармах, построили на плацу. Гестаповец через переводчика спросил, есть ли среди нашего брата коммунисты, комсомольцы, комиссары, политруки, командиры, евреи.

— Кто смелый: выходи! — крикнул переводчик, толстомордый, в немецкой форме, с плетью на запястье. — Язык отжевали? Вешать не будем, если сами признаетесь. Найдем — хуже будет...

— Хуже этого не будет, не пугай, холуй, — вышел из строя изможденный пленный в солдатской гимнастерке с короткими рукавами. Он подошел к гестаповцу и распахнул ворот. — Стреляй, паскуда! Палач!..

— Вот перед вами комиссар, — по-русски сказал тот. — Гимнастерку с рядового снял? Куда свою дел? Спрятал... Испугался за свою шкуру — рядового в кустики отвел и шлепнул, — кривлялся фашист, — не спеши, комиссар, на тот свет, мы тебе сейчас попутчиков подберем...

Полицаи выволокли из строя несколько человек. Гестаповец повысил голос:

— Вот перед вами комиссар и евреи. Это они затеяли войну и заставили вас, простых людей, сражаться. За это мы их расстреляем...

Обреченных отвели в сторону. Раздались выстрелы. Нас завели в ограду, приказали строиться на обед. Проходим к кухне мимо трупов. Получаем по черпаку баланды. Половине пленных баланды не хватает. В чан насыпают прелую муку, заливают ее кипятком, размешивают, и выдача продолжается.

После обеда — баня. Загнали нас под душ человек пятьсот. Несколько минут шла теплая вода, а потом полилась холодная. Ворвались полицаи и стали дубинками выгонять всех на улицу, на холод. Выстраиваемся в очередь за новым обмундированием: полосатой робой и деревянными башмаками. Когда группа была «одета» и «обута», нас вновь погнали на вокзал...

...Попал я в Львовский лагерь смерти. Это была бывшая австрийская крепость. По обе стороны ее, на углах, возвышались две круглые башни, похожие на железнодорожные водокачки. Загнали внутрь трехэтажного кирпичного здания, закрыли за нами железные двери, провели в подвальное помещение. Здесь было темно и сыро. Сели на бетонный пол. Вдруг подвал осветился.

Появились два полицей.

— Мы тюремные старшины, — объявили они. — Чего молчите? Помнить собрались? Нет, ребята, вам сразу сдохнуть не дадут... Хоронить умерших кто будет?

— Вас, холуев, заставят. Задарма, что ли, хлеб немецкий жрете? — послышался спокойный голос из глубины подвала.

— Поговори там еще, доходяга, — бросил полицей, который был выше первого, худой, с усами. Он стоял ближе ко мне, и я мог хорошо его рассмотреть. — Чего уставился? — он двинул меня в бок сапогом. Первый захихикал:

— Жратвы не будет... Не приготовились... Кто знал, что вас будет так много. Завтра получите — каждый свое...

Они повернулись и ушли. Наступила темнота.

На другой день меня зачислили в похоронную команду, выдали длинную палку с крюком на конце. Мы ходили с полицейскими по камерам, вытаскивали умерших заключенных на плац и складывали в штабеля. Другая группа пленных грузила трупы на подводы и увозила на кладбище.

Пробыл я здесь несколько месяцев. Каких только издевательств фашисты не придумывали. Разденут человек двадцать донага, дадут в руки плети, поставят в две шеренги лицом к лицу, прикажут бить друг друга и кричать: «Мы преступники, мы преступники...» Или делали клетки. Опутывали их колючей проволокой, сажали голого человека, и он сидел там, согнувшись, часами. Такие клетки стояли в ряд по несколько десятков там, где строй проходил на обед. После таких экзекуций мало кто выживал...

6 Откладываю тетради в сторону. Голову стиснуло, будто обручем. Хочу заснуть, но не могу. Кое-что из прочитанного я слышал от отца, но тогда все воспринималось иначе. Что я знал тогда о смерти?

Те солдаты, которые погибли в бою, которые умерли *там* или были замучены, сожжены, растерзаны, не воскреснут. Они существуют в моем сознании как нечто несоизмеримое. Двадцать миллионов!

Вспоминаю, как мы с Толяном впервые пленных немцев увидели. Не в кино, а в нашем городе! Живых! Летом это было. Жара стояла невыносимая. Асфальт расплавился и походил на черное месиво. Город облетела весть: на вокзал прибыл эшелон с военнопленными. По обеим сторонам проспекта выстроились горожане. Многим хотелось посмотреть: какие же они?

Подул ветерок. В воздухе — тучами пушинки с отцветающих тополей.

Они лепятся на асфальт, и оттого главный проспект кажется убранным белым покрывалом. И вот по нему шла колонна немцев. С любопытной жадностью вглядываемся в их лица. До этого мы их видели на плакатах, в кино: с автоматами и засученными рукавами, с плетью, а еще факельщиков, поджигающих города и деревни. Помню, когда смотрели фильм «Зоя», женщины плакали в голос.

Пленные немцы чисто выбриты. Обуты в ботинки. Под их ногами слышится хруст. После мне не раз приходилось видеть колонны немцев в нашем городе. Зимой они были тепло одеты — в полушубки и фуфайки, а летом — в целехонькие шинели. Иногда они улыбались нам, но мы не отвечали им. Для них война окончилась, а для нас она продолжалась. Они знали, что вернутся домой, а мы продолжали получать похоронные.

Сразу после войны пленных расконвоировали. Они свободно ходили по городу, выстраивались в длинные очереди у пивных ларьков. Никто к ним не подходил и не приставал, кроме ребятни. И вскоре они промаршировали по городу на вокзал. Они шли с чемоданами и дружно пели...

После первой встречи с пленными немцами мы с Толяном шли домой и спорили. Толян говорил:

— Раз уж их привезли в Сибирь, значит, войне скоро конец. Эх, и заживем тогда! У них воевать скоро будет некому. — Его лицо с большим носом улыбалось, он растопыривал руки. — Посчитай, сколько у нас городов... Везде, поди, их полно, немцев-то пленных. На восток еще поведут...

— Привезли их подальше от линии фронта потому, что неизвестно, когда кончится, — возражал я. — Сам подумай: зачем их держать рядом с фронтом?

Мы спорили до хрипоты, но каждый оставался при своем мнении. Чтобы как-то найти истину, мы приходили в школу пораньше и долго стояли у карты, которая висела рядом с расписанием уроков. На карте географ ежедневно отмечал красным карандашом линию фронта. Иной раз медленно, а в последнее время быстрее, линия передвигалась на запад. Тут же толкались старшеклассники. Они пересказывали военные сводки: сыпали цифрами сбитых самолетов, сожженных танков, называли десятки освобожденных городов и деревень, с видом знатоков обсуждали операции, водя по карте указкой.

После уроков мы убегали на стройку. Усаживались на пригорке и наблюдали, как пленные рюют котлованы, возят тачками землю, забивают сваи тяжелой бабой. Близко к ним не подпускали. Нам же с Толяном хотелось поговорить с ними, для чего мы выучили по несколько немецких слов. Однажды мы увидели их в двух шагах от себя, но поговорить нам не довелось...

Это было в плодопитомнике. Договорились мы с другом поработать там с недельку, чтобы получить талончики и купить на них малины или смородины. Толян в арифметике посильнее. Он подсчитал, что за два ведра ягоды, если продать ее стаканами, купим ведро картошки и булку хлеба.

Встали мы с первыми петухами, вышли на улицу и подались на остановку. Дома, как обычно, никому о цели своего путешествия не сказали.

Вышли из квартир, когда родители наши спали. Мы взяли с собой по куску хлеба и по пучку лука с солью. Лук мы купили вечером у широко-скулых шорок, которые привозили его на рынок.

Сели в старенький автобус. У конторы плодопитомника упросили двух теток, чтобы они провели нас на территорию, поскольку маленьких без родителей не пускали.

Убирали малину. Она росла длинными рядами. Часа два поработали, а на большее нас не хватило. Съев у теток ящичек отборной малины, мы завалились в кусты. Вскоре они не досчитались одного ящика и прогнали нас. Хотя и сорвались наши планы, но ягоды мы наелись до тошноты. Тут еще на смородину наткнулись. Стали есть ее с хлебом и луком. Набили такую оскомину, что языки не ворочались.

При выходе из плодопитомника мы и наткнулись на пленных немцев. Они грузили ящики с ягодой на подводы. Среди них были толстые и худые, в их лицах не было той свирепости, какую мы себе представляли. «Завоеватели» были самыми обыкновенными людьми. Ничего такого, чтобы указывало на их исключительность, мы с Толяном не заметили. Однако они были врагами. Работали бы себе в Германии. Никто их сюда не приглашал. Нет ведь, воевать пошли, Европу, весь мир захватить решили. Земли им мало. Из меня и Толяна рабсилу хотели сделать...

Они задевали нас полами синих халатов, которые развевались от ветра. А вдруг какой-то из них догадался, о чем я думал? Кто их поймет, этих немцев. Влепит подзатыльника или поддаст пинка. Что с них возьмешь? И я приврезал, аж пятки засверкали. Толян за мной. Остановились, когда выдохлись. Смотрим друг на друга и смеемся.

— У тебя рожа, — кричу, — вся розовая от малины...

— У самого-то, как у пороса, — с трудом выговаривает Толян, держась за скулы. — Эх, как болят-то...

7 В голове отрывочные эпизоды из далекого детства. Отгоняю их прочь. Что-то сестры Людмилы нет. Перед отъездом, на вокзале, дал ей телеграмму. Она живет в Горной Шории, работает на руднике после окончания института. Возможно, она задержалась потому, что в горах выпал снег. Дорогу на станцию занесло. Вероятно, в эту минуту бульдозеры расчищают заносы, а за ними движутся колонны автомашин с рудой, и в одной из них, в кабине, сидит сосредоточенная Людмила.

Сестра на четыре года младше меня. О том времени ничего не помнит. Всю войну она просидела в комнате, проиграла в куклы. Бывало, когда мы собирались вместе, а это случалось не так часто, я рассказывал о прошлом. Мама кивала головой, отец помалкивал, а она удивленно говорила:

— Не может быть... Сочиняешь... Совершенно этого не помню...

Я злился, а она, строгая, красивая, сыто зевая, пожимала плечами. Ее не мучают воспоминания, кинофильмы о войне она не смотрит, книг на эту тему не читает. Это ее равнодушие к прошлому выводило меня из себя.

Людмилы нет... и никого нет. Рука невольно тянется к отцовским тет-

радам. Знаю, что там будет: борьба за существование. Такова жизнь. Хочется крикнуть во весь голос: ненавижу, ненавижу войну и несправедливость, насилие, предательство.

Из четвертой тетради

...Из Львова я попал в Станислав. Под усиленным конвоем нас прогнали по всему городу к лагерю, который был огорожен каменной стеной. В центре стояла кирпичная конюшня. Она и служила пристанищем для советских военнопленных.

Нас загнали в отдельную половину на трехдневный карантин. Утром всех подняли на проверку, после которой выдали завтрак: по пол-литра баланды. Тут же, через проволоку, мы познакомились с нашими соотечественниками. Это были ходячие скелеты. Одежда на них висела клочьями, и по ней ползали вши. Если бы кто глянул на них со стороны, испугался. Но мы привыкли ко всему, да и сами, пожалуй, выглядели не лучше. Они нам рассказали, что их осталось триста человек от сорока тысяч.

Эта конюшня была адом. В ней помещалось до тысячи человек. Коек всем не хватало. Посредине наваливали солому, в нее зарывались, спасаясь от холода. Среди нас были раненые и больные. Фашисты, как правило, ни раненым, ни больным помощи не оказывали. Они просто стреляли в солому, убивая тех, кто не подымался. Трупы долго не убирали. Живые по несколько дней спали рядом с мертвыми.

После карантина нас заставили оборудовать корпуса для голландских военнопленных. Фашисты спешили: каждая группа получала конкретные задания. Мы были истощены, еле передвигались и заданий, естественно, не выполняли. За это нас лишали пищи, избивали плетьюми.

Не забыть фашиста — садиста, худого, в очках. Его мы называли рыжим чертом. Он никогда не расставался с палкой и карабином. Его боялись, как огня. Кто попадал в его группу, быстро прощался с жизнью. Обычно в лагерь он приводил двух, а то и одного из десяти.

...Неподалеку от лагеря возвышались холмы, и администрация лагеря решила их разровнять. Гоняли нас на работу по 40—50 человек. Работали под руководством пожилого прораба немца. Он был грузным, низкого роста, по-русски говорил плохо.

Землю мы возили тачками. Прораб следил, чтобы каждый насыпал с верхом. Если кто вез неполную, он останавливал, приказывал досыпать, вспрыгивал на тачку и утаптывал землю ногами. Иногда он усаживался в нее, стегал пленного, и тот вез его до тех пор, пока не падал. Мы вздохнули свободно, когда узнали, что за «хорошую» службу он получил отпуск и уехал.

Прораб из отпуска вернулся быстро, сильно изменившимся. Он сидел теперь где-нибудь в сторонке, понутив голову, изредка покрикивал:

— Помалу, помалу, — и снова склонял голову.

Как-то он позвал пленного к себе, который вез неполную тачку. Усадил его рядом, угостил сигаретой. Мы издали наблюдали, что будет дальше. Смотрим, немец лезет в карман. Ну, думаем, конец пришел нашему товарищу. Однако прораб достал бумажник, что-то показал плен-

ному, и они еще минут десять поговорили, затем пленный поднял свою тачку и поспешил к нам. Тут мы все и узнали...

Прораб приехал в Мюнхен, но семьи своей не нашел. Накануне союзники бомбили город, и в дом, где жила его семья, попала бомба. Жена и две дочери погибли. Он плакал, когда показывал пленному фотографию, на чем свет клял Гитлера, рассказал о разгроме немцев под Сталинградом. Так мы узнали о Сталинграде...

Когда помещения были готовы, пригнали голландцев. Их было около двух тысяч. Они шли строем по пять человек. В руках у каждого по два чемодана, все в новенькой военной форме. Нам и в голову не пришло, что это военнопленные, для которых мы готовили лагерь.

Мы наблюдали за ними из-за колючей проволоки. Вот передние остановились, поставили перед собой чемоданы. Они кричали нам: «Здравствуй, русишь!» Многие подошли ближе. Они долго всматривались в наши лица, а потом стали задавать вопросы. Они сразу поинтересовались, почему мы такие худые и оборванные. Генерал, который стоял у самой проволоки, сказал, что мы не человеки, а бог знает кто. Он сносно говорил по-русски, переводили наши ответы. Когда узнали, как нас кормят и как обращаются, стали возмущаться. Через проволоку полетели к нам сигареты, хлеб, сыр. Немцы заметили это и сразу отвели голландцев...

Из пятой тетради

...С советскими военнопленными фашисты обращались, как с людьми низшего сорта, да что и говорить — за людей не считали вовсе. Нас запрягали в бричку по пять-шесть человек, и возили мы воду, мусор. Однажды прошел сильный дождь. Дорогу размывало. Бричка вязла. Мы выбивались из сил. Двое наших упали и не поднимались даже тогда, когда их били. Раздались выстрелы. Охранники пригрозили нам, что так будет с каждым саботажником...

Двое совершили побег из санчасти, которая не охранялась, а одно окно ее выходило прямо на улицу, в садик. Когда фашисты узнали о побеге, они согнали зло на оставшихся в лазарете больных. Их вывели на улицу, раздели донага. Весь день они стояли на солнцепеке, а кто не выдерживал и падал, того поролли плетью. Они лежали, к ним не разрешали подходить...

Голландцы решили организовать массовый побег. Офицер, говоривший по-русски, подошел ко мне:

— Убежим мы... Попадем к русским. Возьмут нас в Красную Армию?

— Кто же вам запретит сражаться против фашистов? — ответил я, прислоняя швабру к стене. — Но бежать-то теперь трудно — вас сильно охраняют...

Он взял меня под руку, отвел в дальний конец камеры.

— Мы хотим взять с собой пятерых русских, которые убирают нашу камеру, — начал он тихо. — Будете помогать нам копать тоннель...

Мы с воодушевлением стали рыть тоннель. В цементном полу подъезда пробили дыру за дверью. Под полом был подвал. Из него и начали копать на глубине полутора метров. Работали по ночам. На день под

застилали половичком. Землю носили в картонных ящиках, в которых голландцы получали продовольствие. От начала подкопа становились печочкой. Она тянулась на третий этаж, где находился зал со сценой. Туда, под сцену, и сыпали землю.

Все шло хорошо. Копали две недели. Немцы ничего не подозревали. Казалось, успех обеспечен, но помешал нелепый случай. Осталось копать совсем немного. На пути встретилась канализационная труба. Сверху проходил патруль с собакой. Она услышала, как по трубе звякнули киркой. Собака залаяла, заскребла землю. Немцы стали копать и обнаружили тоннель. Мы вовремя услышали...

8 Я давно уже не лежу на кровати, а хожу по комнате, и даже не хожу, а как-то мотаюсь из стороны в сторону, то и дело беру со стола тетради и кладу их на место. От них пахнет плесенью, сыростью, и я открываю окно.

— Здравствуй, Андрюха, — слышу голос и вздрагиваю. Так, с присвистом, мог говорить только Васька Гаркал... Тот самый... Драчун, приставаала, лгунишка, а потом пьяница и преступник. — Не ожидал, небось? Иду мимо — огонек... Дай-ка, думаю, зайду, — врёт Васька, как обычно. Ведь по интонации голоса чувствую, что врёт. — Если сказать по совести, то соседка мне весточку принесла: приехал, говорит, к Пичугиным сын — важнецкий, солидный, с портфелем на двенадцать пузырей. — Васька улыбнулся, показывая золотые передние зубы, щелкнул себя по воротничку. — Пригласишь обмыть встречу?

Он стоит по ту сторону ограды — чуть выше ее, в черном костюме и в белой нейлоновой рубашке. С виду слабак, дунь — улетит. В детстве же был коварным и злым. Однажды закрыл нас с Толяном в подвале, и мы просидели в нем всю ночь, а утром, голодных, осипших от крика, нашли там нас матери, да еще дали хорошую взбучку. В школе он крал у меня учебники, вырывал из них листы и делал голубей, разбивал глиняные чернильницы, ломал о парту перья, а на больших переменах, когда мы обедали в школьной столовой, подливал в борщ редечного соку из пузырька, который всегда носил с собой. Сейчас даже трудно припомнить все обиды, которые он мне причинил, да и стоило ли? По-человечески надо бы сесть за стол да поговорить, да посмеяться над детскими проказами, если бы не одна обида, самая большая, от которой по сей день болит сердце.

— Заходи, — приглашаю его. — Мама, собери-ка чего-нибудь нам с Василием на стол.

— Может, не надо? — спрашивает она. — Будете ворошить...

Она не договаривает, уходит. Как я мог объяснить ей, что не могу прогнать человека, пришедшего ко мне в гости, человека, с которым сидел когда-то за одной партой. С чего началась наша вражда? Даже и сказать трудно...

Наших отцов в один день призвали на фронт. В один день мы получили похоронные. Но мой-то отец вернулся, а его — нет. Помню, как после войны я бегал встречать на вокзал отца. Он писал нам из Германии, последнее письмо прямо из Берлина.

На вокзале обычно творилось невероятное. Как только подъезжал поезд, начинал играть духовой оркестр. Толпа встречала демобилизованных воинов криком и ревом. Все целовались и плакали: мужчины, женщины, дети.

Отец все не приезжал, а я ходил. Однажды за мной увязался Васька. Он появился неожиданно, протянул мизинец: «Чур, не драться. Перемирие...» Идем вместе. Он рассказал, что ходит на вокзал встречать своего отца, что не раз видел там меня. Он не верит, что отец его погиб.

— Получили же вы письмо, — бубнил он. — Их вместе забрали. Значит, и мой с ним едет, с твоим-то... Не пишет потому, что тайно хочет нагрянуть, неожиданно, — глотал Васька слезы, — а я тут как тут: батя, скажу, айда домой...

В тот день мы никого не встретили. Возвращаемся домой подавленные, молчим. Вдруг Васька, немного отстав, влепил мне булыжником промеж лопаток. Отбежал в сторону, сел на пригорок и смотрит, как я корчусь на земле от боли. За что ударил? Я ведь верил ему, сочувствовал.

Теперь мы ходили на вокзал по одному: я по одну сторону дороги, он — по другую. Мне приходилось следить за каждым его движением, чтобы успеть увернуться от булыжника. И он за мной следил: Васька знал, что по неписаному закону улицы он рано или поздно получит по заслугам. И получил! Когда приехал мой отец, я отомстил ему. Он тогда возвращался домой с вокзала, а я из кустов попал в него из рогатки. Он схватил камень, бросился в мою сторону, но его всюду настигали мои меткие выстрелы, и Васька завопил:

— Сволочь, Андрюха! У тебя батя вернулся, а мой где? Их же вместе забирали-и-и... Хватит, выходи...

Мне бы тут выйти, но я не раз убеждался, что верить ему нельзя. Слезу с дерева, а он мне влепит кирпичиной. И я стрелял, пока Васька не убежал.

...Выхожу навстречу. Он протягивает мне руку, скромно улыбается, и мы впервые в жизни обмениваемся рукопожатием. Садимся за стол. Василий молча берет стопку, смотрит на свет: его лицо испещрено множеством мелких морщин. Волосы на голове редкие, с проседью, а глаза какие-то бегающие, стыдливые. Я потрясен: передо мной почти старик. Он выпил, не дожидаясь меня, закусил соленым огурцом.

— Дружок, Анатолий, помог — щелкнул он по золотым зубам ногтями. — Вернулся я оттуда — ни кола ни двора... Мамаша, царство ей небесное, богу душу отдала. Светлана уехала, да и не виню ее... Пришел к другу, вот он и помог. На работу устроил. Слесарем в домоуправление. Мастером, так сказать, по унитазам... Анатолия в городе знают. Сталевар... Фигура! Мог бы и в цех к себе. Ну, ладно, и на том спасибо. — Рот у Василия дернулся, и он прикрыл его ладонью. — Привел меня к батю своему. Живу у них в доме, который уже годочек... Стесняется меня последнее время мой дружок. К батю своему ходит, когда я на работе. К себе, боже упаси, не приглашает.

— Не женился? Чего так? — взял я рюмку. — Светлану забыть не можешь?

Василий налил еще, кивнул:

— Не могу, — он закусил губу, щеки его побелели, и я на мгновение уловил в нем черты прежнего Васьки, а потом его лицо вновь стало мрачным, глаза потухли. Он больше ничего не говорил, пил и ел, о чем-то сосредоточенно думал и, казалось, совсем забыл, что сидит у меня в гостях. Впрочем, он несколько не мешал мне думать о своем...

Мы уже не дрались и не швырялись камнями. Мы повзрослели. Не могу до сих пор понять, чем Васька пленил Толяна. Стал я замечать тогда, что друг мой сторонится меня. Раз я их видел в кинотеатре, потом в городском саду. Говорил с Толяном, но он отмахивался. Васька торжествовал: он отнял у меня друга, с которым мы провели самые трудные годы... Нас с Толяном связывало много общего, а что могло быть между ними — совершенно разными людьми? Я укорял Толяна, назвал даже предателем, но его тянуло к Ваське.

Время шло. Я работал и учился в вечерней школе, дружил со Светланой. Наши родители стали поговаривать о свадьбе, и она бы состоялась, если б не Васька. Он преследовал Светлану всюду: дарил цветы, писал страстные письма, над которыми мы с ней потешались. Он был настойчив, одевался в меру модно. Мне бы давно надо было набить ему морду, но я верил Светлане, моей Светлане, которую знал с детства.

Помню, как тетя Лена, мама Светланы, застала нас в постели. Она резко сдернула одеяло, схватила дочь за волосы и рывком стащила на пол.

— Бесстыжая... Молоко на губах не обсохло...

Светлана поднялась, набросила на себя халатик, аккуратно висевший на спинке кровати. Глазки ее сверкали.

— Мы с Андрюхой решили пожениться... Вчера решили... И не вмешивайся в мои дела, — она передернула плечами.

— Муж, обьелся груш, — сказала тетя Лена. — Думаешь, что паспорт получила, так и взрослая стала, думаешь, управы на тебя нету?

Тетя Лена неожиданно плюхнулась на колени.

— Уходи, Андрей, как сына прошу... Вот и мать-то твоя сказывала, что обещал ей, как школу кончишь, в институт поступить... Уезжай, Андрей, оставь Светку... Малолетка она. После института свадьбу сыграем. Не послушаешь, к судье пойду: так, мол, и так, скажу, силой взял аль там хитростью... Нет, Андрей, не серчай, упаси боже, да разве я лихоманка какая, вы же дети мне. Мать-то твоя сутками в войну из цеха не вылазила, а я ходила за вами, обстирывала, кормила, из столовой, прости меня, душу грешную, под полой мяско да картошку да хлебушек таскала... Не послушаешь, вот крест, прямо с балкона на асфальт брошусь, — добавила она с отчаянием, и ее дряблые щеки-мешочки отвисли книзу.

Мне было жаль тетю Лену. Не так я представлял этот разговор. Собираясь сказать ей, что в институт не поеду, а буду работать и учиться в вечернем, что Светлану можно устроить на курсы кройки и шитья, что мы обо всем уже договорились, но, может, плохо сделали, что не посвятили в наши планы ее, тетю Лену, маму, и вот теперь она стоит на коленях, горем убитая.

Я так ничего и не сказал ей, а бросился поднимать и все не мог отор-

вать от пола. Наконец мне удалось усадить тетю Лёну на кровать. Я подмигнул Светлане, которая молча наблюдала за нами, скрестив на груди руки. Ее длинные русые волосы закрывали плечи. Серые глаза сузились, потемнели. Нахмуренные брови, вздернутый носик и плотно сжатые губы придавали пылающему личику упрямое выражение, вся ее поза была вызывающей.

— Комедию разыграла, — сказала она, скосив глаза в сторону матери. — Забыла, как тут гулянки устраивала. Тоже мне, мораль еще читает...

Светлана повернулась, вышла на кухню, хлопнула дверью. Я посмотрел на тетю Лёну: губы у нее подергивались, по щекам текли слезы.

— Так меня, дочь, так... Это за то, что жизнь прожила для нее, а могла выйти замуж, солидные мужчины сватались. Кому теперь я нужна, старуха-развалюха, а все думала, что Светка скажет да как поведет себя, упрямая, с отчимом. И опять, провались она, комнатуха-клетушка, а дочь большая, как бы отец-то родной был.

Тетя Лёна поднялась, вышла.

Мне все-таки пришлось уехать. Перед этим я предложил Светлане такой план: поскольку и мои родители пока против нашей женитьбы, я уезжаю в другой город, устраиваюсь там на работу, снимаю комнату; и тогда она приезжает ко мне. Светлана сказала: «Зачем съезжать с собственной квартиры? Мало ли чего маме вздумалось. Ничего, все перемелется...»

Светлана думала сломить мать упрямством. Мне казалось, что подойди мы к ней по-другому, и она бы согласилась на наш ранний брак. А тут, как говорится, нашла коса на камень. Я пришел к Светлане и объявил, что уезжаю на два месяца в командировку, а после буду сдавать экзамены в институт, что со свадьбой придется подождать. Светлана крикнула мне, что я трус, негодяй, что никогда не любил ее и как она не замечала этого раньше...

В тот же день Светлана ушла от матери. Тетя Лёна слегла. Она не плакала, а только тихо стонала. Меня к ней не пускала соседка, которая считала, что во всем виноват я. Тетя Лёна вышла ко мне тогда, когда ей сказали о моем отъезде. Она стояла на пороге своей комнаты и смотрела на меня внимательно и добро. Я переминался с ноги на ногу, перебрасывая из одной руки в другую чемоданчик, не зная, что делать, что говорить, — так потряс меня ее вид. Передо мной была худенькая, седенькая женщина с морщинами, которые глубокими бороздами пропахали ее лицо. Поразительно, как может измениться человек за несколько дней.

Тетя Лёна протянула руку, видимо, хотела погладить меня, но не осмелилась и только перекрестила да посмотрела так, будто собиралась что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелила губами. Я пятился к двери, не в силах повернуться к ней спиной, пяткой открыл дверь и тихо прикрыл ее за собой. В коридоре облегченно вздохнул, подумал о том, что через недельку-другую Светлана вернется и все будет по-нашему... Но получилось так, что никогда больше я не увидел тетю Лёну, не приходил в ту квартиру, в которой прошло мое детство, а раза два был на кладбище, клал на ее могилу цветы и уезжал.

В то лето пятьдесят третьего я с бригадой монтажников уехал в соседний городишко на строительство цементного завода. Вернулся через два месяца. Светлана за это время поступила в педучилище, жила в общежитии. Я пришел к ней вечером, но мне сказали, что она ушла с Василием на танцы, что она вот уже второй месяц встречается с ним и собирается за него замуж. Я был в отчаянии. Знал, что он не любит ее, объяснил ей это, дождавшись с танцев. А Васька, который сейчас сидит за моим столом, пьет мою водку, о чем-то думает, тогда стоял в сторонке и ухмылялся. Она прогоняла меня от себя. В ее глазах я был склочником, завистником, негодяем. А Васька стоял и ухмылялся. Осенью они сыграли свадьбу.

Молодожены стали моими соседями. Их дом, построенный тетей Верой и Васькиным отчимом, стоял через переулок. Мы с Васькой, встречаясь, не разговаривали, не здоровались. К ним иногда приходил Толян, и тогда из их дома слышалась музыка, веселые голоса. Я мучился, страдал. Больше так жить было невыносимо, и я уехал из родного дома навсегда.

И вот сейчас во мне с новой силой всколыхнулась ненависть к Василию. Это ведь он воспользовался моей размолвкой со Светланой и женился на ней, только чтобы досадить мне, ранить в самое сердце. Но за что? Разве я был виноват в том, что его отец погиб, а мой вернулся?

Наши взгляды встретились. Он будто проснулся. Лицо было помятым, глаза слезились. Я видел, что он хочет высказаться, кивнул ему, облокотился о стол, приготовился слушать.

— У меня там было немало времени подумать. Все-таки десять лет дали — не десять суток. Срок отвалили, скажу тебе, порядочный, а ведь не ограбил никого, не убил... Ранил ножом одного по пьянке. Вздумал, видите ли, за Светланой приударить... Началось через это, — Василий показал на бутылку с водкой. — Пил я здорово. Знал, что не любит меня жена. А я любил. Мне льстило, что увел твою невесту... Ведь мой-то отец матушку мою, царство ей небесное, из чужой деревни выкрал. Гнались за ним с ружьями да с кольем, как за зверем. В тайге скрылись, у кержаков два года жили. Потому отец-то мой уважал твоего за это самое происхождение, кержацкое. Эх, как пил я! — Василий схватился за голову, — заливал горе водкой. Мы оба с ней поняли, что поступили гадко. А какие истерики она мне закатывала! Когда освободился, хотел к тебе поехать. Думал, что ты поймешь меня, поможешь...

— Почему же ко мне? Хотя, конечно, помог бы.

— Так я думал. Видать, не ошибался. И потом — считал, что Светлана с тобой. Мне матушка перед смертью написала, что сбегла она. А к кому ей бежать-то, куда? Любила она тебя, вот так... Хотел Светлану увидеть. Приехал, а вы бы пожалели, простили, если виноват. Нельзя же человека ненавидеть всю жизнь. Я свое получил...

— Все гораздо сложнее, Василий. — Я налил в свою рюмку, выпил. — Вот думаю о прошлом и ничего не могу забыть, понимаешь, ниче-го! Получил ли ты свое, а мне что от этого? Ничего сейчас не вернешь, не поправишь. Ну, к примеру, чего хорошего видела с тобой Светлана? Бесконечные пьянки, драки. Нет, не любил ты ее...

— Понимаю... Все понимаю, — сказал Василий, подперев отяжелевшую голову руками. — Время было военное, как-то и ожесточился, других не жалел. Парни, которые постарше нас на пяток лет — совсем другие, да и те, которые помоложе, также не такие... Досталось нашему брату. Там, между прочим, таких, как я, было навалом. Наматывали нам на всю катушку. Годы, Андрюха, пропали зря. Понял я, что надо было преодолеть трясину, не поддаваться соблазну мелочной расплаты, но не хватило ума. Так много энергии потрачено впустую. Если бы не погиб мой отец... Будь же проклята эта война, мое детство, все, все...

Он резко поднялся, протянул мне руку, но я держал бутылку, а он подумал, наверное, что не захотел пожать ее, быстро спрятал руку за спину, повернулся и стремительно вышел. Я не ожидал этого, считал, что разговор только начался, и хотел открыть ему одну тайну. Уж больно разжалобил он меня. Тайна эта жестокая, и она постоянно мучает меня: я ношу ее много лет в себе, как тяжкий груз. И вот Василий ушел. Может, это и к лучшему. И я мысленно разговариваю с ним.

Ты был прав, Василий...

Светлана приехала ко мне. Да, ей некуда было тогда податься. Я остался единственно близким для нее человеком. Помню, в тот день, возвращаясь с работы, я попал под проливной дождь. Добравшись до своей комнаты на пятом этаже панельного дома, переодевшись в сухое, свалился на кровать. Ныли суставы, ломило поясницу, стучало в висках, поднялась температура. Раздался звонок. Еле поднявшись, буркнул: «Кого там черт несет?» и открыл дверь. На пороге стояла Светлана.

Она вошла в мою комнату с кричащим свертком в руках, в ситцевом платье, стоптанных туфлях. Под глазами — синие круги, лицо худое, постаревшее, редкие с проседью волосы лежали на плечах.

— Из роддома я... — Она посмотрела мне в лицо, будто мы расстались две недели назад. Я молчал, проглотив язык. — Сразу уехала, как Василия осудили. Пил он, дрался... Хватила я с ним горюшка, Андрей...

Светлана горько усмехнулась. Она сидела на стуле у стола. Ребенок у нее на руках продолжал кричать.

— Он и не знает, что сына родила. Свекровь-то, тетя Вера, от рака померла, а свекор продал дом и был таков. Одна я теперь, как перст. Что на мне — то и мое...

Сижу на кровати. Светлана будто в тумане. Сколько-то годочков я думал о ней, сколько ночей видел ее во сне. Не в одной женщине находил дорогие мне черты, а потом наступало горькое разочарование, и ничего у меня не оставалось, кроме боли в сердце, которая со временем усиливалась, терзала и опустошала мою душу. И сразу наваливалась смертельная тоска, адски больно было на душе, и казалось, будто конец надеждам и желаниям, что никому ты на свете не нужен. В иные ночи приходила бессонница, и как я ни зашторивал окна — заснуть не мог. Вскakiвал, одевался, выходил на улицу, бродил по площадям, темным аллеям городского парка. Уставший, возвращался домой...

— Кроме тебя, у меня никого нет... — слышу голос Светланы. — Не молчи, ей-богу, тяжело-то как...

Думаю, что надо бы встать, открыть сервант и отдать Светлане день-

ги, что-то около трёхсот, хватит ей на первый случай, а там видно будет. Но подняться нет сил. Шарю глазами по столу, вижу ключик, говорю: — Там, в серванте, возьми...

Светлана презрительно, как бывало, передернула плечами, встала, направилась к выходу. Ну и характер! И ведь уйдет, теперь уже навсегда. Навсегда?..

— Света! — крикнул я. — Куда же ты?.. Девчонка! Люблю же я тебя, черт его поberi, на всю жизнь люблю...

Она вернулась, встала около меня. Ее глаза были широко открыты, а лицо — мокро от слез.

Через несколько месяцев я назвал мальчика Олежкой и записал его на свою фамилию. И все считают, что он мой сын, да и мне иногда кажется, что Олег, которого вырастил и воспитал, мой сын, Олег, который похож на маму, мою жену Светлану, родившую мне второго сына Игорька, сейчас служит в армии и скоро приедет домой на побывку. У него должен быть один отец.

9 Мама смотрит то на меня, то на дверь, за которой скрылся Василий, не понимая, что произошло. Где же ей, вечно, бывало, занятой, знать обо мне, если не все, то хотя бы самую малость. И почему уехал из дому, не спросила и никогда особо не интересовалась, как я там живу.

Я рассказывал ей о себе, а она кивала в ответ: «Знаю, сынок, отец-то был у тебя. Не могу я ездить. Ноги болят... Помнишь, как Абу вброд переходили? Ты на мне верхом — мостик тогда сломался. Осенью это было. В обход-то не хотелось... Месяц тебя в заводскую столовую водила, да все по воде холодной вброд-то, вот и застудила ноги, а оно к старости все сказывается. Хорошо, хоть тебя одного на горбушке таскала. Людмила-то в санатории была...»

Отодвигаю стакан в сторону и надолго погружаюсь в свои мысли. Думаю о том, что между мной и мамой никогда не было теплых отношений. Уже сейчас, когда мне за сорок, я часто наблюдаю, как женщины ласкают своих детей, и отворачиваюсь в сторону, потому что не испытал ничего подобного. Мне до сих пор кажется, что это «телячьи нежности», и я даже покрикиваю на жену, которая прямо-таки зацеловывает Игорька. Сам я лишний раз стесняюсь погладить сына по головке или просто прижать к груди.

Всю любовь и нежность мама отдавала Людмиле. На двоих ее, по-видимому, просто не хватало. Мама каждое лето отправляла сестренку на дачу, в санаторий, в пионерский лагерь. И в те дни, когда рядом не было Толяна, со мной всегда была Светлана. Я заступался за нее, помогал в учебе, и многие в школе думали, что моя сестренка не Людмила, а Светлана. Наша дружба с ней началась с одного удивительного случая, о котором мы часто теперь вспоминаем...

Мы со Светланой лежим под высокой кроватью, купленной моим отцом перед войной. Спинки у кровати металлические, с четырьмя блестящими шарами. В первые дни, когда ее поставили, я свинчивал шары и катал их по полу, неровному, крашенному ужасной грязно-коричневой

краской. Этажом ниже, под нами, жила тетя Вера, мать Васьки, сварливая, сухая и сутулая, которая сразу же прибегала, трясла кудряшками, стонала:

— Боже мой, ну и бес... Покою от него нет...

Я продолжал играть, как ни в чем не бывало, будто и не стоит на пороге тетя Вера в длинном крепдешинном платье с плечиками, отчего ее фигура кажется плоской, как стиральная доска. Удивляюсь, как мог дядя Петя выкрасть ее из другой деревни, такую страшную. Не замечаю нахмуренных, подведенных тушью бровей, поджатых в ниточку губ и хрящеватого побелевшего носа. Она грозит мне пальцем:

— Стучи, идол, стучи, скажу Васятке. Он тебе прищавую морду разукрасит...

Она хлопает дверью, а я катаю шары. Они гремят, стучат. Нет, не любил я тетю Веру. Для меня было наслаждением дразнить ее, а с Васькой, сыном ее, мы учились в одном классе, третьем, и сидели за одной партой. Интересно, помнит ли он эту пору нашего детства? Он был второгодником, постарше меня, верховодил в классе, всех задира, но в общем-то был трусишкой.

Васька остановил меня на улице.

— Я тебе сейчас покажу, как шарами стучать, — улыбаясь, сказал он. — Чё ты, Андрюха, мамку дразнишь?

— Ха, заступник! Слабак ты показывать. Бомба на отвале ахнула — чуть в штаны не наделал.

Васька осканился, побелел, толкнул меня в грудь. Он быстро надвигался на меня, и я увидел его серые бешеные глаза. Между нами мельтешил Толян, размахивал руками, бубнил: «Вы чё, пацаны, да не надо, вы чё...» Вдруг кто-то шикнул на нас. Я увидел, что вокруг стоит много людей и все смотрят вверх, в черный репродуктор, который зонтом висел на столбе, обклеенном разными объявлениями, вроде: «Меняю мешок овсяных отрубей на фуфайку...».

«...Наши войска после упорных и продолжительных боев с превосходящими силами противника оставили город Харьков», — звучал голос Левитана. Толпа стояла молча. Мы с Васькой опустили руки, забыв о драке, глядели в землю. Наши отцы воевали вместе на харьковском направлении.

Переворачиваюсь на спину. Подо мной старенький мамин тулуп. Светка хнычет. Тетя Лена побила ее и отправила ко мне под кровать. «За что, за что?..» — канючит она, утирая слезы о мое плечо.

Квартира наша на два хозяина. В маленькой комнате живут тетя Лена, дядя Коля и Светка. Дядю Колю вместе с моим отцом взяли на фронт. Мы с мамой и Людкой живем в комнате, которая побольше. В ней две кровати, стол, комод, этажерка с книгами, в основном по домоводству и слесарному делу, да у окна фикус в кадке.

Кухня у нас общая, большая, с широкой печью, отдельной комнатухой-умывальничком. В кухне два обеденных стола, стулья и ящик с углем и дровами. Коридор просторный. В нем до войны, рядом с туалетом, стояли два велосипеда. Они проданы были, когда потребовались деньги на проводы наших отцов на фронт, и коридор стал пустым, неуютным.

Хорошо мы жили до войны, дружно. Взрослые никогда не ссорились, Людка и Светка родились здесь, не то что я — в каком-то стареньком бараке. Когда его ломали, то все мы ходили смотреть. Над бараком стояла густая пыль. Рабочие крушили стены, отдирали хорошие доски. Мама даже прослезилась, сказала, что в этом бараке прошла ее молодость.

Светка все канючит. Я толкаю ее локтем и выглядываю из-под кровати. Вижу: за столом сидят женщины. Поют заунывные песни, обнимаются, пьют из алюминиевых кружек водку, закусывают огурцами и квашеной капустой.

Тетя Лена сидит ко мне спиной, опершись круглыми локтями о стол. Жует медленно, старательно. Представляю полное, с заплывшими глазами лицо и руки — тяжелые, короткие, будто валики, и мне стало жаль Светку.

— Есть хочу, — хнычет Светка.

— Потерпи, не сдохнешь, — говорю, подражая тете Лене, и Светка тычет мне кулачком в бок. — Будешь драться, отправлю к матери, она тебе опять наподдаст.

Светка сердито сопит, а я закрываю глаза, хотя спать не хочется, да и где тут заснешь, когда шумят. Ведь совсем недавно было иначе. Собирались женщины, а как они пели, шутили, баловали нас, детей, и даже тетя Вера не была такой злой и занудливой. Это было до тех пор, пока тетя Лена и тетя Вера не получили похоронные...

Рано утром мы съезжаем по перилам вниз и выскакиваем из подъезда. Сразу поеживаемся от ранней утренней прохлады. Солнце светит прямо в лицо. Молча идем по густой росистой траве. Проходим березнячок. У меня промокли штанины. Старательно обходим высокую крапиву, прыгаем через маленький ручеек, впадающий в Абу, и оказываемся на небольшой песчаной косе.

Ложусь на песок и смотрю в воду. У самого берега мечутся стаи мальков. Бросаю камушек. Мальки исчезают в мути, но вскоре появляются снова. Светка ложится рядом. Купаться еще рано. Солнце немножко поднялось, но греет плохо. «Когда папа вернется, я все ему расскажу, — вдруг говорит Светка серьезно. — Мой папа живой...» Она еще что-то хотела сказать, но вскочила, сбросила платице и с разбегу прыгнула в воду. Она смеется, и ее чистый голосок колокольчиком звенит над рекой. Мы возвращаемся бегом. У дома встречаем ватагу ребятни. Толян кричит: «Айда, Андрияха, еще купаться...» Мотаю головой, захожу в подъезд вслед за Светкой. Поднимаемся в квартиру. Мама ушла на работу. Тетя Лена заканчивает уборку. Она работает в столовой, поэтому не спешит. «Тарелки подождут, не треснут», — обычно говорит она. А в нашей комнате все прибрано. На столе записка: «Андрей, завтрак на кухне. Обед сваришь сам. Есть немножко картофеля, пшено, банка тушенки». Кладу записку, но что-то мучает меня. Вновь беру записку, читаю. Ага, вот оно, это слово... «тушенка», та самая, которая осталась после вчерашних гостей. Иду на кухню. Открываю стол, достаю банку, подхожу к окну, распахиваю его и швыряю тушенку прямо в помойную яму. Тетя Лена ахнула, но тут же присела. В ее комнате раздался тонкий звон.

— Ах ты, паскудница, — взвизгнула тетя Лена. — Любимую вазу, хрустальную расколола. Я ж тебе задам...

Она сгребла Светку, зажала ее голову между толстых ляжек, задрала платице и начала нахлестывать ремнем. Точно так, как тетя Вера недавно лупцевала Ваську. Его-то соседи выручили, а кто из взрослых придет на помощь Светке, когда все на работу ушли? Тетя Лена стоит несокрушимо, методично взмахивает ремнем, а Светка кричит, извивается, и ее маленькое тельце покрывается красными пятнами. Я не выдерживаю, бросаюсь к ним, висну на руке тети Лены, но она отшвыривает меня к стенке. Вскакиваю, снова висну на руке, а она перебрасывает ремень в левую руку и хлещет меня по голове. Чувствую острую боль в правом ухе, в глазах круги. Ухо сразу вспухло...

В бессильной ярости хватаю швабру, размахиваюсь и бью ею по ненавистой спиняке. Тетя Лена оставила дочь, повернулась ко мне, выставила вперед руки и, шевеля пальцами, пошла на меня. Я размахнулся и ударил шваброй по руке. Тетя Лена отступила, села на кровать и стала смотреть на меня так, будто впервые видела. Она поднялась, но я угрожающе поднял швабру, и тогда она запричитала: «Рученьки вы мои, рученьки, побил вас этот разбойник... Ах, доченька, моя единственная, да черт с ней, с вазой, да зачем я так-то с тобой...».

Светка стояла около меня. Я поставил швабру на порог, прислонил ее к косяку. Мы пошли на речку. Я обнял Светку за плечи и подумал о том, что отныне буду всегда защищать ее и никто никогда нас не разлучит. А осенью мы вместе будем ходить в школу: я, Толян и Васька в четвертый класс, Светка и Людка — в первый.

10 — Мама, пойду посплю, — говорю я и поднимаюсь. — Если что, буди. И Людмила, когда приедет, пусть не церемонится.

И опять я в комнате один, как в те далекие времена юности. Тогда здесь были книги, стояла радиолa с набором пластинок, а сейчас вот отцовские тетради. Ему будет приятно, когда скажу, что прочел их все до единой, что они прекрасно сохранились. Он всегда хотел, чтобы я прочел их. Сколько тетрадей осталось — две, три... Я начинаю думать, как отец, когда представляю кровавые этапы двадцатого века: фашизм, минувшую войну, концлагеря для миллионов, где методично и последовательно уничтожались люди. Самое страшное преступление против человека — это убедить его в своем ничтожестве, отнять у него чувство собственного достоинства, самоуважения.

Я думаю о современном мире. Убежден, что большинство людей хотят сделать мир добрее. И я хочу, чтобы мои сыновья жили в более добром мире, чем тот, в котором прошла моя юность.

Из шестой тетради

...В мае 1943 года исполнилась годовщина моего заточения. Этот месяц был еще «знаменателен» тем, что к нам прибыл власовский агитатор. Камеры гудели, как растревоженные ульи. Тут же нашлись смельчаки,

которые вызвались убить предателя в камере, но этот план был отвергнут, так как могло пострадать много невинных людей. Голландцы посоветовали нам гнать власовца в шею.

Три дня ходил по камерам предатель. Наконец очутился в нашей. Нас было сорок человек. Он грустно уселся за стол. Долго молчал. Немецкая солдатская шинель была небрежно наброшена на плечи; он прятал круглое белое лицо в воротник, поглядывал на нас пытливо, косился через плечо на дверь, за которой стоял охранник. Потом стал тихо, с шепелявкой, рассказывать о себе: служил воентехником, попал в 1942 году в плен, многое перенес. Назвался «Киевским», но мы так и не поняли, кличка ли «Киевский» или фамилия, а спросить постеснялись.

— Полицаи тут есть? — между тем задал он вопрос. — Не люблю я этих гадов. Сам испытал их зверства. Сколько они русской крови пролили. Отольются им наши слезки. Мы уже многих полицаев расстреляли. Среди них были коммунистические агенты. Это они издевались над пленными, над мирным населением, вызывая недовольство против немцев.

Ему сразу возразили:

— В немецкой полиции тоже есть коммунистические агенты? В гестапо?..

— Друзья мои, — будто не слышал власовец. — Прошу записываться в нашу армию... Чего молчите? Думаете, что я предатель?

Крикнули:

— За дешевку проданся... Нас-то не купишь, шкура...

— Уже и ругаться, — вроде обиделся предатель. — С вами по-хорошему... Не предатель же я, — нисколько не смущаясь, сказал власовец. — Мы защищаем Родину... от коммунистов.

— Мели, Емеля... Защищаете Родину? Проданся за котелок баланды...

Поднялся пленный, средних лет, задрал рубашку и показал шрамы на спине и груди.

— Это, господин агитатор, фашисты разукрасили. Такие отметины у каждого из нас имеются. — Он опустил рубашку. — Говоришь, в плену был? Покажи, где там у тебя такие шрамики? Чего, гад, молчишь? — двинулся к власовцу пленный, и тот вскочил, попытался к двери. — Паскуда вониючая... Да ты знаешь, сколько тут фашисты наших замутили?

В камеру ворвалась охрана. Нас оттеснили прикладами от власовца, пригрозили, что если мы и дальше будем себя вести подобным образом, то нас отправят туда, откуда живыми не возвращаются...

Из седьмой тетради

...На плацу отобрали большую группу военнопленных для отправки в другой лагерь. В нее попали все обитатели нашей камеры. Не дав опомниться, нас погнали на вокзал. Голландцы махали нам руками, бросали продукты прямо в строй. На вокзале нас рассадили по трем товарнякам, и мы поехали. В нашем вагоне нар не было, значит, решили мы, повезут недалеко. Итак, прощай, Станіслав, прощайте, голландцы!

В Перемышль мы приехали вечером. Нас высадили, построили и погнали в Пикуличи, где находился лагерь для советских военнопленных. В Пикуличах нас пересчитали почти наощупь, закрыли в сарае, где мы и разместились на ночь на соломе. Этот лагерь был с самого начала войны превращен в лагерь смерти. В нем было 75 тысяч военнопленных, а к моменту нашего прибытия осталось полторы тысячи.

Мы рыли траншеи. Работа была тяжелая, а кормили плохо. Многие маялись животами. В лагере существовала больница, И врачи ее, и санитары были из военнопленных. Только главврач был немец. Как правило, в плену никто не называл своего настоящего имени, тем более фамилии.

— Я нахожусь здесь с самого начала, — сказал мне врач. — Не помню, чтобы кто-то выходил отсюда живым. Лекарств нет и не было. Люди умирают, в основном, от истощения. Нужно питание... Лучше сюда не попадать...

Мне повезло. Благодаря моим землякам, я попал на легкую работу — в инструменталку. Там я познакомился с людьми, мечтавшими о побеге.

Через две недели мы сделали попытку убежать. Пролезли впятером по канализационной трубе, чуть не задохнулись, а когда дошли до конца, то наткнулись на толстую решетку. Пришлось возвращаться. Мы успели как раз к утренней поверке, и наши товарищи сумели быстро переодесть нас.

Нам стало известно, что лагерь охраняют власовцы. Мне поручили поговорить с кем-либо из них. Это было рискованно, но необходимо, и я согласился. Подошел к караульному, стал ждать. Вдруг выходит Петр Гаркал. Вот так встреча!

Я растерялся, а он смутился, хотел пройти мимо, но я загородил ему дорогу.

— Как же это?.. Как ты мог?.. Выходит, предал. Знать бы, в болоте тогда утопил. Чуть фашист за тебя очередью не срезал...

Петр стоял, опустив голову.

— Устал в ожидании смерти, — начал он оправдываться. — Убивали, вешали, истязали, сжигали живьем... А я домой хотел...

— Теперь-то тебе дорога домой заказана.

— Не ты ли будешь меня судить и миловать? — Его глаза недобро блеснули. — Я-то вернусь, а вот ты... Жизнь человеку дается один раз. Форму эту вонючую, придет время, в землю зарю — и шито-крыто. Кроме тебя, моего имени никто тут не знает, вот шлепну — и дело с концом. А там — свобода. В партии восстановят. Буду после войны приезжать сюда и класть к памятнику замученным военнопленным цветы, если его вообще здесь когда-нибудь поставят...

— Негодяй, — оборвал я его. — А ведь ты не был таким. Нет, не выйдет у тебя ничего. Получишь, предатель, по заслугам. А я ничего тебе не скажу. Пусть думают, что ты погиб за Родину.

Петр вскинул карабин. Дело принимало скверный оборот. Смерти я не боялся. Не раз смотрел ей в лицо. Но что приму ее от Петра Гаркала — и во сне не могло присниться.

— Не спеши, Петр, успеешь, — сказал я с легкостью, чем сразу обес-

куражил его. Он опустил оружие. Видимо, нелегко убить близкого человека, хотя у меня бы, например, рука не дрогнула, расстрелять предателя. — За делом к тебе. Хочу поговорить откровенно... Мыслишка у меня есть. Не думаю, чтобы ты за откровенность платил подлостью.

— Выкладывай, — буркнул он, озираясь, — поживем...

— Сам знаешь, Красная Армия близко. Есть шанс искупить свою вину. Вас тут взвод. Вы еще сможете спасти от смерти сотни людей. А какой бы партизанский отряд был!

— Мы перебьем немцев, вы получите оружие и постреляете нас, предателей, — усмехнулся Гаркал. — Наши на это не пойдут. Между прочим, такое уже было... И вот что: уходи, пока цел...

Я не стал больше искушать судьбу, повернулся и ушел. Но не сдержал своего слова землячок. Убить-то меня у него духу не хватило, так решил чужими руками расправиться. На вечерней поверке я был отведен в карцер. Несколько дней сидел на воде. Меня поролы плетью, пинали ногами в живот, в пах... Меня, видимо, спасло то, что я без устали твердил: узнал земляка, когда увидел, как он принимал караул, говорил с владомцем по собственной воле.

Меня перевели в капут-команду. Это была адская «работа». К тому же фашисты позже целиком расстреливали капут-команды, чтобы скрыть свои преступления, и набирали новые. Нас усиленно охраняли, изолировали от остальных военнопленных. Я чувствовал, что эпопея моя вот-вот закончится. Выхода не было. Круг, таким образом, замкнулся.

Военнопленные теперь в лагерь почти не поступали, а рабочая сила фашистам была нужна. Нас стали кормить получше. В лагере ежемесячно проходили врачебные комиссии, на которых отбирали здоровых людей и отправляли на работы в Германию или на военные объекты. Так появился шанс на спасение. План созрел мгновенно. Когда приехала комиссия и на плацу установили столы, за которыми уселось начальство, я бегом бросился в толпу и смешался с нею. Среди нескольких сотен человек нелегко было отыскать меня. На это потребовалось бы немало времени, а немцы спешили... В числе пятидесяти человек, отобранных для рытья укрепления, оказался и я...

Из восьмой тетради

...Нас перевели в Перемышль. Лагерь считался образцовым. Он находился на окраине города. Неподалеку проходила железнодорожная линия, и было хорошо видно, как на восток идут войска, а на запад — эшелоны с ранеными.

Из этого лагеря, хотя он и был «образцовым», мы решили бежать. Мы — это пятнадцать смельчаков. Разработали план побега, но когда подошло время действовать, нас осталось трое: два Николая, большой и маленький, и я. Остальные под разными предлогами отказались.

Наши бараки, каждый в отдельности, были опутаны проволокой. На углах лагеря-квадрата стояли вышки с пулеметами и прожекторами: каждую сторону высвечивали так, что мышь не могла проскочить незамеченной. По ту сторону стен из колючей проволоки, по тротуару, кото-

рый на полметра поднимался над землей, ходили патрули с собаками. Бежать, перерезав проволоку и остаться незамеченным, было почти невозможно. Вот почему другие отказались. Однако я решил, ибо считал, что другого выхода нет.

18 сентября 1943 года в 18 часов раздался свисток на вечернюю поверку. Мы, решившие бежать, стояли рядышком. Говорить было не о чем. Мы даже не знали настоящих имен друг друга. Для чего? Если повезет, потом и познакомимся. Поверка окончена. Пленные стали расходиться. Мы отделились от всех и прижались к стене барака. В 19 часов в ограде уже никого не было. Стоим. Помаленьку стало смеркаться.

Мы осторожно поползли к первой стене. Коля-большой с кусачками впереди, я за ним, Коля-маленький ползет последним. Залегли. Коля быстро перерезал проволоку, шепнул: «Готово...» Ползем дальше. Удачно минуем вторую и третью стены, подползли к последней, залегли. По тротуару ходят немцы. Собаки с ними нет. Возможно, появится позже. Надо спешить. Прожектор светит чуть-чуть в сторону.

Патруль поравнялся с нами. Лежим в густой лебеде. Затаили дыхание. Немцы тихо поговорили, разошлись. Ждем, когда немножко удалятся. Вдруг луч прожектора осветил нашу сторону. Вдавились в землю. Медлить теперь — значит погибнуть: охранники подойдут сюда, без труда обнаружат, расстреляют в упор. Мы это отлично понимаем. Я толкаю Колю-большого, и он протягивает руку к проволоке. Щелк, еще щелк и еще... Коля оказался на той стороне. Сразу ударил пулемет.

Коля был убит на тротуаре. На миг я припал к нему. Коля-маленький крикнул: «Назад...» Но я знал: назад уже нельзя. Я кинулся в картофельную ботву, пополз. Отсеченные пулями листья сыпятся мне за шиворот. Вот это огонь! Ползу долго, кажется, вечность, на самом деле — считанные минуты.

Когда поднял голову, то увидел, что нахожусь на кладбище. Сел, перевел дух. Стрельба не утихает, а разгорается сильнее. Тут ракеты осветили местность, и я увидел кустарники, побежал к ним. Над головой запели пули. Бегу, согнувшись, а потом ползу на четвереньках. Ракеты падают рядом, шипят и гаснут.

Вдруг сваливаюсь в воду. Ракета осветила маленькую речушку. Сзади залаяла собака. Это уже плохо. Иду в воде, вдоль берега. Овчарки лают совсем близко. Не уйти... Тоска сдавила грудь, ноги и руки не слушаются. Все это походит на кошмарный сон. Падаю в воду, инстинктивно срываю камышинку... Мозг работает лихорадочно... Продуваю камышинку, беру в рот, ложусь на дно, хватаюсь за коряжину, чтобы вода не вытолкнула меня на поверхность.

Не помню, сколько лежал под водой. Окоченел. Воды нахлебался порядком. Когда стало невтерпёж, вынырнул. Темно. Стреляют впереди. Выбираюсь на берег, иду... Набрел на поле с брюквой. Вырвал две штуки, одну очистил и съел, другую сунул за пазуху. Пошел на запад, ориентируясь по звездам, а не на восток, где меня, возможно, поджидали. Мне пригодилось чутье охотника. Но теперь я был зверем, уходившим от погони. Мне нужен был лес. Для меня, родившегося в глухой сибирской тайге, лес — это дом родной. В нем я не пропаду...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Это была последняя уцелевшая тетрадь. Да и эти-то, уцелевшие, читал с пятого на десятое, потому что многие странички отсырели, чернила расплылись. Большая стопка тетрадей, совершенно испорченных, лежит в стороне. Какая досада! Как партизанил отец, как воевал в действующей армии, брал Берлин, все — в них. О судьбе Петра Гаркала, отца Васьки, там тоже было, несомненно было, ибо отец несколько месяцев был в тех краях. Но он мне никогда об этом не рассказывал. Жаль, что я не прочел этих тетрадей раньше.

Вздыхаю, складываю их в чемодан. Нет, надо спросить обо всем отца. Вот только проснется... Заходит мама, губы ее подергиваются, глаза влажны. Еле выговаривает: «Андрей, отец-то...» Все понимаю. Пол качается вместе с кроватью. Во рту пересохло. Иду за мамой в комнату к отцу.

Он лежал в такой же позе, в которой я оставил его, и умер, по-видимому, сразу, как только я вышел в сенки за рукописью, а мама ошиблась, подумала, что уснул. Смотрю на него и еще как-то не осознаю, что отца уже нет. Перевожу взгляд на его довоенный портрет, висящий над кроватью. Сколько, бывало, в детстве изучал эту единственную фотографию. Когда ходил на вокзал встречать отца, то был уверен, что узнаю его среди сотен людей. Ходил, но так и не встретил...

Он пришел рано утром. В новенькой шинели, с новыми солдатскими погонами, с рюкзаком за плечами. Остановился в дверях, смотрит на меня и сестренку. Я мигом узнал его, бросился на шею, он стал целовать меня и гладить по голове шершавой ладонью, а когда протянул руки к Людке, то она спряталась под одеяло и никак не хотела вылазить из-под него.

В комнате тишина. Мама сидит у кровати и плачет. Хлопнула калитка. Наверное, Людмила приехала. Надо предупредить ее, подготовить. Медленно иду к двери и на пороге сталкиваюсь с незнакомым мужчиной. Он высок, плотен. На нем серый костюм, белая рубашка, яркий, по моде, галстук. И лицо крестьянское: широкое, озабоченное, лоб крутой, с единственной глубокой морщиной, а нос большой, мясистый. Стоит, широко разведя руки. Уж не Толян ли? Гляжу на него и не узнаю. Прежнего-то я любил, за того мог в огонь и в воду...

— Андрюха, черт тебя побрал! — отчаянно говорит он. — Где пропадал столько лет? Убить тебя, черта, мало...

Мы обнялись. Он был повыше меня и покрепче. Прижал меня так, что хрустнули косточки. Вдруг Толян обмяк, опустил плечи, и я понял, что он через мою голову увидел в комнате маму, скорбно сидящую у изголовья умершего отца.

— Идем к нему, Андрей, — печально говорит он. — Мы ведь с ним, пока ты мотался по свету, ох, какими друзьями были...

Еще раз хлопнула калитка. Это Людмила. Я узнал ее шаги — неторопливые, твердые, и размеренный перестук каблуков по бетонным плитам кузнечным молотом отзывался в моем сердце.

РОСЧЕРК ТУЧИ

Где сыро, там и льет.
Где тонко, там и рвется.
Одна беда пройдет,
Другая подвернется.
А радость?
Редкий гость,
Как солнце в бабье лето:
На крону взглянет вскользь —
Не каждый лист согрет им.
...Хочу я быть листом
На самой верхней ветке,
Чтоб в сумраке густом
Меня хлестали ветры.
Чтоб зной нещадно жег
И ливни омывали,
Чтоб испытать я смог
И радость, и печали.
Когда же час придет
Оставить ствол могучий,
Пусть росчерк гневной тучи
Меня перечеркнет...



ЗОВЕТ ПРИЧАЛ

Искал... Но я найти не мог
Цветов зеленых в мире этом.
Цветами был усеян лог,
И лес пестрел от красок лета.
Я поднимаюсь на хребет
Под шум лихого водопада.

И там цветов зеленых нет,
А тех, что встретил, мне не надо...
Ах, как мучительно подчас
Мы ищем что-то неземное,
Хоть рядом согревает нас
Навеки близкое, родное.
И я тебя не замечал.
Прости за поиск безрассудный!
Зовет меня такой причал,
Куда и не заходят судна...

Раиса Чигракова

Брожу родным поселком в тихий вечер,
Кругом сирень пахучая цветет.
Знакою походкой мне навстречу
По переулку женщина идет.
Я узнаю в ней нашу тетю Анну —
Ее в поселке знает стар и мал —
Все ждет с войны, все ждет она Степана:
Он не убит — он без вести пропал.
Ее любовь война не пощадила,
Вихрь смертоносный жертв не выбирал.
Но, помню, всем тогда она твердила:
«Он не убит — он без вести пропал».
А раз пропал, то, может быть, найдется —
Все верила, надеялась она:
Ее Степан с войны еще вернется...
Но вот... давно уж кончилась война.
В родных краях бываю я не часто,
Но, как приеду, слышу — говорят:
Она, как прежде, верит в свое счастье,
Все ждет и ждет — уж тридцать лет подряд.

Когда ее вам встретить доведется
И речь о муже заведет она,
Поверьте с ней, что, может, и вернется:
Ей эта вера в жизни так нужна.

Пос. ТЕМИР-ТАУ

Вера Сергиенко

МУЗЫКА

Стучат снежинки острые,
И плачет скрипка Ойстраха,
И звуки воспаленные
Летят в стекло оконное,
Встречаются с преградою
И, обессилев, падают...
А я — сильнее! Дверь плечом —
И все на свете нипочем,
И встанет лес над головой,
И станут волосы травой,
И станут пальцами листья,
И станут сложности просты,
И сложной станет простота —
Рисунком жилочек листа.

г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

У РУЧЬЯ

Тихо-тихо журчит ручеек,
Как слеза — голубая вода.
В жаркий полдень пугливый зверек
Прибегает напиться сюда.
Чутким ухом он ловит шумок,
В воду кирзовый нос окунув.
И, напившись, уходит зверек,
Глазом-бусинкой мне подмигнув.

БАНЯ

Простая избенка, две лавки, полоч,
Предбанник и печка с трубой в потолок.
То русская банька — отрада души.
А веники здесь — до чего ж хороши!
Заломит ли кости, промерз ли, продрог —
С березовым веником лезь на полоч!
Душой молодея, напаришься всласть!
Ах, русская банька!
Ах, русская страсть!

г. МЕЖДУРЕЧЕНСК

Екатерина
Дубро

САМОЕ ГЛАВНОЕ

■

РАССКАЗ

Пенсионный день — самый хлопотный. К десяти часам утра Татьяна Федоровна отправляется на почту; получив деньги, в первую очередь надо расквитаться с ЖКО, потом в школу — партийный и профсоюзный взносы уплатить. Да и вообще, школа — это школа, самое главное, школа — это вся жизнь. Каждый раз сердце вздрагивает при звонке, который до сих пор в момент заставляет собраться внутренне, приготовиться, до сих пор зовет, даже забудешься, но — не вас зовет; вон пустеет, пустеет учительская, а вы — сидите. Некуда спешить, никто уже не прислушивается к стуку ваших каблучков, старая учительница, никто не выглядывает из класса. Ко всему привыкнуть можно? А вот не привыкается почему-то. Дома — да, но в школе старые, десятилетиями выработанные рефлексy оживают. Даже и просто идя в школу уплатить взносы, ни о чем другом, не школьном, не думается уже: то ли собственные воспоминания, то ли недавно рассказывали что-то.

Татьяна Федоровна ускоряет шаг: мимо этого дома она всегда спешит, стараясь не заглядывать в нижние, полуподвальные окна клуба пенсионеров. Ан нет, не проскочила: Августа Ивановна семенит навстречу, в клуб, конечно.

— Кого я вижу! — радуется она. — Здравствуйте, милая Татьяна Федоровна, не у нас ли были?

— Как здоровье ваше, Августа Ивановна? — уклоняется Татьяна Федоровна.

— Да спасибо, бегаю пока. На репетицию спешу, концерт готовим. Говорят, вы на мандолине играете? Вот бы нам свой струнный!

— Какое там — играю! — пугается Татьяна Федоровна. — Так, пилю кала когда-то.

— Ах, Татьяна Федоровна, — укоризненно качает головой Августа Ивановна. — И за что вы нас не любите? Нехорошо, отрываетесь от масс.

— Да что вы! С чего бы мне вас не любить? Сама такая.

— Э-э, нет, не такая. — Обиженно кривятся сморщенные, но подкрашенные губки. — И как вам не наскучит дома?

Ну, не станешь всякий раз объясняться, что сидячей жизни дома не получается, даже и при желании. Они — общественники, коль собираются вместе песни петь, а я — осколок! А вот не хочу к ним в подвал, и все. Не хочу. Боюсь подвала.

Иногда Татьяна Федоровна устыжала себя: может, и правда нехорошо отделяться, и перед зеркалом дольше задерживалась. Но Августа Ивановна, та же старухня прямо. И старухой пахнет. Нет, в самом деле! Сидели с нею рядом в театре на вечере, Дню учителя посвященном, — пахнет старухой, и все. Уж и сама над собой смеялась: тоже мне, молоденькая, и объяснить бы не сумела, что за такой запах, а вот же! А ну их. Как насмотришься на вечерах этих, так и грустно: всех старичков, старушек знала в расцвете сил, не такими помнила, а ведь вместе старимся, и сама, наверно, со стороны такая же — лучше уже не добавлять себе грусти. А самодеятельности всякие — разве не грустное зрелище? Какие голоса уже?

Голубеют местами проплешины ледяные, но снежку подвалило, в валенках надежно.

...В учительской, кроме математика Зои Матвеевны и какой-то незнакомой учительницы, никого не было: все на уроках. А эти тетрадки проверяют.

— Татьяна Федоровна! — обрадовалась Зоя Матвеевна. Собственно, какая там Матвеевна — просто Зоя, Зоенька, лучшая ученица выпуска... восемь? да, восемь лет назад. Вернулась в свою школу, три года уже преподает.

— Как у тебя, Зоенька?

— Спасибо, работаю.

— Трудности?

— Сколько угодно! — засмеялась Зоя Матвеевна.

Татьяне Федоровне очень нравится видеть эту молоденькую женщину, такая приятная она: пушистые светлые волосы, шпилькам не поддающиеся, личико хорошенькое, живое.

— Рассказала бы? — Татьяна Федоровна присаживается на стул. Не разделась — холодно в учительской, только расстегнула пальто.

— Непременно! — Зоя Матвеевна устраивается рядом, на диване. — И даже совета попрошу. Понимаете, новенький в этом году у меня, тройки по математике, а в прежней школе, говорит, на четыре и пять учился. И сегодня, прямо на уроке, высказался, гордый такой юноша. Но ведь не знает выше тройки, Татьяна Федоровна!

Звякнула об пол шпилька — опять вытолкнули ее непокорные Зоины волосы, а Зоя и не заметила даже. Татьяна Федоровна улыбнулась, кивнула на пол.

— Ничего, — сказала. — Я сейчас расскажу тебе, как в аналогичном случае у меня было. А, впрочем, не в вашем ли классе Грибова училась?

— Нет, нет, — Зоя Матвеевна водворяет выпавшую шпильку на место, ежится в своем изящном красном костюмчике.

— Ах да, это раньше. Так вот, то же самое, только вдобавок к твоему еще и расплакалась девочка. Ну, что? Говорю всему классу: «Ребята, Грибова считает, что я занижаю ей отметки. Пусть докажет. Через четыре месяца посмотрим, кто прав, вы — свидетели».

— Почему через четыре? Долго.

— Да ведь средняя она была ученица, а чтобы доказать, что может на четыре хотя бы, ей времени много требовалось.

— И как же? Доказала?

— Доказала, представь себе. Настырная девочка. Опять же на уроке говорю: «Ребята, в нашем споре Грибова победила: она знает математику на четыре. Похлопаем Грибовой, ребята». Похлопали.

— А учительское самолюбие? — лукаво улыбается Зоя Матвеевна.

— Ты думаешь, оно существует отдельно от интересов общего дела? Думаешь, я проиграла? Нет, выиграла математика. Мне же того тогда и нужно было.

Последние слова покрываются трелью звонка.

— Спасибо, спасибо, — Зоя Матвеевна целует Татьяну Федоровну.

Через минуту учительская уже ровно гудит голосами, время от времени перебиваясь всплесками восклицаний, смеха, приветствий. Обычная суэта школьной перемены: делятся новостями, кто-то ищет, найти не может что-то в шкафах и даже за шкафами, кто-то по телефону разговаривает, кто-то в уголке распекает нашкодившего ученика. Топчется у двери, мнет шапку в руках чей-то вызванный родитель. И снова Татьяна Федоровна в круговороте этой милой сердцу суеты.

— Вы прекрасно выглядите!

— Благодарю, — наклоняет она седую стриженую голову.

— Да наша Татьяна Федоровна, я слышал, и общественница знатная, — подхватывает историк Илья Владимирович. Маленький, толстый, остро поблескивают стекляшки пенсне.

— Да, да, и я слышала, хвалили вас!

— Хвалили, — соглашается Татьяна Федоровна. — Незаслуженно только, скажу вам по секрету. Нет, нет, я не скромничаю — в самом деле незаслуженно. Ну, конечно, делаю что-то, вожусь. А другие из совета общественности вовсе ничего не делают, вот в сравнении с ними я и героиня.

— Татьяна Федоровна, — трогает за локоть статный физрук Игорь Игоревич, — а почему не помогаете нам, почему чужой школе?

— Ближе та школа, поэтому. Попросили. Хожу и мешаю всем. Как встретила недавно Платонова Юру... Илья Владимирович, Платонова помните?

— Как же, как же. Он ведь где-то в начальниках?

— Да. Так вот, зашел у нас разговор о пенсионерах. «Хоть бы отдохали, — сказал. — У нас, например, план горит, ни до чего там, а пенсионеры во все носы свои суют, мешают только».

Все смеются.

— Татьяна Федоровна, в дом отдыха поедете? Хотя на два сезона, — это уже Нина Петровна, председатель месткома, перехватывает.

Ясно: путевки горят, езжай хоть бесплатно. На курорт бы, сердце подлечить, спину. Один раз всего и была за всю жизнь на курорте. Учителю туда по путевке попасть трудно. Да, материальных ценностей не производим, но это наши воспитанники производят их, это наши нервы, наши глаза — наша жизнь то есть вложена в дело их воспитания. И не по восемь часов в день...

— Тамара Васильевна, минуточку! Извините, Нина Петровна, я к вам еще подойду, — и Татьяна Федоровна пробирается к окну, где ее оклик настиг уже уходящую учительницу математики в старших классах. — Простите, Тамара Васильевна, но что за транспарантик я сейчас у вас подсмотрела? Пособие новое?

Та хмурится, достает из сумки транспарантик. Все такая же необщительная. Давно уже отступились от нее в учительской, не хочет разговаривать, кроме как по делу, — и не надо. Прощалось многое, если видели, что человек не мыслит себя без учительской работы. А Тамара Васильевна именно не мыслила себя без своей работы. На нее нагрузить можно было сколько угодно — везла. Но вот с учениками не ладилось у нее, а это уже — не с учителями...

— Слабые, сильные... — Татьяна Федоровна возвращает транспарантик, страдальчески морщится. — Да что вы делаете, милая? Прошу вас, — шепчет, — уберите это, уничтожьте!

Тамара Васильевна, окаменев, стоит, скосив глаза в окно. И Татьяна Федоровна мучается: правда вот, мешает всем, во все нос свой сует, неужто это и ее удел тоже?

— Я видела ваш кабинет, Тамара Васильевна, превосходный кабинет. Столько выдумки! У меня хуже был.

Тамара Васильевна по-прежнему смотрит в окно, но чуточку порозовела.

— Так вот, — бьется рядышком Татьяна Федоровна, — у меня так было: задание в ящичках. Здесь, объясняю им, для тех, кто на три решает, здесь — на три и на четыре, а здесь — для отличников. Каждый мог выбрать, что хотел. Что получается? Получается, что троешники и четверошники сравниваются, никто не в обиде. Ведь если слабый решит из второго ящичка — значит, думает, способный, в силы свои поверит, стараться будет. И потом, знаете же, иногда слабый ученик в практической работе с экспонатами обгоняет сильного теоретика — это нужно тоже учитывать. В конце концов, большинство из них ожидает именно практическое применение математики в жизни, в работе.

Неожиданно Тамара Васильевна улыбается. Ей, Татьяне Федоровне. И хорошо улыбается. Кивком головы своей кудрявой то ли благодарит, то ли прощается и уходит из учительской, прямая, нескладная, каблуки ее туфель вечно гремят громче всех.

Звонок. Ах, засобирались все снова. Где журнал? Где книга такая-то? Поправить галстук. Подпудрить щеки. Все, все, бегу, до свидания, Татьяна Федоровна, до свидания, будьте здоровы!

— А вы знаете, до чего я додумалась? — Нина Петровна задержива-

ется. — Вот. почему в фильме «Сельская учительница» убивают мужа героини в самом начале? Потому что иначе не было бы такого фильма, такой героини. При семье-то. Семья губит учителя.

— Или учитель разваливает свою семью! — смеется кто-то уже от двери.

Второй звонок отзвучал. Все, можно и дальше...

Конечно, права Нина Петровна. Сама вон, как заводная, постарела-то как. Практически невозможно быть одновременно хорошей учительницей и хорошей женой, хозяйкой. Одно из двух. И если бы только непосредственная работа, но еще и десятки больших, сотни мелких дел, поручений, нагрузок. Когда, где вздохнуть учителю свободно? Никогда и нигде. Может быть, есть смысл ввести в штат какие-то административные единицы, помимо секретариата и бухгалтерии, чтобы не отвлекать учителей от их основного дела? Тогда оно, дело-то, выиграло бы, а уж во сколько раз выиграло бы — трудно и переоценить: во много раз. Даже классное руководство не должно бы совмещать с преподаванием, если желать от классного руководителя каких-то реальных результатов по воспитанию детей, индивидуального подхода к каждому. Ну, шесть часов там в неделю преподавания, и довольно, а все остальное время — непосредственно воспитательной работе.

Да, прибавили к зарплате, отлично все это, но проблемы учительские так и остаются проблемами. Ежели на то пошло, то, вдобавок ко всем тяготам и загруженностям, ко всем программам, расширенным, еще и авторитет учительский полинял весьма. А почему? Да все потому же — обязанностей у учителя слишком много, одни сплошные обязанности, все шишки всегда на школу. Он уже и двойку за четверть выставить не смеет без оглядки на требование процентной — 99% и не меньше! — успеваемости, и на второй год оставить не может. И пусть не может, но ученики это знают, прямо в глаза иные говорят: «Все равно переведете, не имеете права оставить!» Кто разберется во всех сложностях этих?

Ворчишь все? Ворчу! Ведь болит душа-то. Свое ведь...

г. ЮРГА

Проблемы природы, сохранения ее богатств волнуют сейчас все человечество.

В ноябре минувшего года Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах по предотвращению загрязнения бассейна реки Томи неочищенными сточными водами и воздушного бассейна городов Кемерово и Новокузнецка промышленными выбросами», в котором отмечается, что «...В реки и водоемы бассейна реки Томи сбрасывается большое количество неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. Многие министерства медленно проводят на подведомственных им предприятиях, введенных в действие без очистных сооружений, мероприятия по обеспечению очистки сточных вод и обезвреживанию промышленных выбросов в атмосферу».

В очерках «Земля» (Ю. Киселева) и «Держись, Кия!» (А. Зайцева), опубликованных в 1973 г. на страницах нашего альманаха, их авторы поднимают важные вопросы, связанные с рекультивацией земель и бесхозяйственным отношением к одной из красивейших рек Кузбасса — Кие.

Ну, а как же относятся руководители хозяйств, предприятий и само население к другим нашим водным источникам, например, к притоку Томи — Кондоме? Об этом рассказывает новый очерк Ю. Киселева «Кондома в осаде».

Редколлегия альманаха будет благодарна читателям, которые откликнутся на эти очерки, поделятся с нами своими предложениями и пожеланиями, расскажут, как обстоят дела с проблемой сохранения природы и ее богатств в их родных местах.

Ю. Киселев

КОНДОМА В ОСАДЕ

Ломать — не строить, голова не заболит. Так любят говорить плотники. В присказке этой скрыт глубокий смысл. Наши лесопромышленники, осваивая Сибирь, в данном случае один из притоков Томи — Кондому, — рушили тайгу, не задумываясь над последствиями. Столкнув лесину в воду, и все дела. Доплывет куда надо. Дорог строить не нужно. Тяговой силы тоже требуется минимум.

И как дешево! Какая низкая себестоимость продукции, Молодцы!

«Молодцы» старались крепко. На всех притоках Кондомы до самых верховий рек Мундыбаш, Таз, Тельбес вырезали под корень все ближайшие хвойные леса. И тогда у лесозаготовителей голова наконец заболела. Но вовсе не потому, что стали мелеть и заиливаться реки. Задумались о другом: как доставлять древесину с отдаленных участков и, опять же, спихивать ее в реку. Выручил технический прогресс: новые мощные тракторы и автомашины. Весной после ледохода «шуга» из бревен стала еще гуще.

Река начала задыхаться.

Кондома боролась, пока не срубили последнее хвойное дерево в доступных верховьях, пока еще лес мог держать осадки после дождя и снега, регулируя равномерный сток. Без леса река не река. Ключи, ручьи — поставщики воды, в межсезонье основательно мелеют. Прибрежные склоны потеряли способность держать влагу. Не за что уцепиться воде. В среднем и нижнем течении Кондомы в водозащитной зоне даже пней не осталось. На склонах образовались малопродуктивные пастбища — размытый гумусный слой не дает урожая. Былинка за былинкой гонится с дубинкой. Где горы пологие, ниже, — там пашни, сенокосы. Тоже открытые всем ветрам, бессильные перед разрушительной силой дождевых ручьев.

Короче говоря, осадкам негде аккумулироваться. Прошел дождь — вся вода моментально скатилась, ушла в русло. Через полчаса после грозы Кондома мутнеет. Лет десять назад ливень окрашивал ее в желтовато-серый цвет. Еще сказывалось присутствие маломощного гумусного слоя, накопленного за многие тысячелетия. Теперь его почти нет. Изменился и цвет воды. Как только пройдет дождь, поток становится желтым. Он несет со склонов огромное количество взвешенных частиц. Не река, а кисель из глины.

Путь реки резко изменился. В паводок за несколько дней все зимние запасы влаги уходят в море. Река за тридцать лет обмелела почти на пятнадцать сантиметров! В 1940 году уровень Кондомы в районе Кузедеева, по данным наблюдения Новокузнецкой гидростанции, был 55 сантиметров, а в прошлом году — около сорока. Обмеление продолжается. Если так пойдет и дальше, то через тридцать лет Кондомы не станет.

При сплаве леса кора деревьев, отдельные сырые кражи, отлагаясь на дне, выделяют губительные для реки вещества. Взвешенные частицы забивают рыбе жабры, ей трудно дышать. Такие ценные породы рыб, как хариус и таймень, в Кондоме и ее притоках, можно сказать, полностью исчезли.

Помню, мы, мундыбашские пацаны, с нетерпением ждали лесосплава. Собирались на берегу красавца Тельбеса и часами наблюдали, как мчатся лесины, обгоняя друг друга. Интересно было смотреть на ныряющих «утопленников», прокатиться (вопреки строжайшему запрету родителей) на гигантском кедровом кряже. С особым нетерпением ждали затора. Как только на косе застрянет рослый сутунок — тут и начинается истинное наслаждение. Бревно к бревну, и за каких-нибудь полчаса мост через реку готов. А лес все прет и прет, намертво запыживая русло. От нечего делать бегали на другую сторону, рыбачили в «промоинах», собирали смолу, варили жвачку.

Мы не понимали взрослых, которые зло глядели на плывущий лес и на заторы.

— Всю рыбу подушат...

А тут на Мундыбашской аглофабрике начали строить хвостохранилище. Пошли разговоры, что с вводом его в эксплуатацию Тельбес очистится, в Кондому пойдет только светлая вода, ободрится речка. «Ну вот, — размышляли мы, — рыбы будет видимо-невидимо».

Прошли годы, прежде чем от аглофабрики протянулся в большой лог за поселком стальной трубопровод. Три с половиной километра. Пять пульпонасосных станций. Сначала в лог постоянно прорывало плотину, и шлам из обогащательного цеха попадал в ту же Кондому. Только через гору, в обход. Спихивались, направляли его в Тельбес. А какая, в сущности, разница? Все равно в Кондому шли все отходы производства.

Сейчас вроде бы технология перекачки обогащательного шлама отработана. Несколько лет назад прекратился и молевой сплав. Рыбы же не прибавилось. Раньше мужики ловили рыбу наметками, теперь мужиков ловят с наметками. Оказалось — браконьерский лов, запрещено. Оттого, мол, и рыбы мало. Да в наметках ли дело? За три десятилетия лесозаготовители капитально износили Тельбес. Русло разбили бревнами, загрохотали древесными отходами. Вместо ре-

ки появился большой ручей, зарастающий лопухами. Пойдет ли сюда рыба метать икру?

Сейчас вся надежда на вторичные леса: березу, осину. Но их опять же безжалостно вырубают. Заготавливают дрова, жерди, черенки к лопатам. Не успеет молодойк подняться в рост человека, как ему тут же приходится применение в хозяйстве. Все это определяется нашей потребностью, но зачем рубить вдоль реки?

К чему я повел разговор о Тельбесе? Да потому, что печальная история этой реки учит — судьба малых рек должна волновать каждого, они должны тщательно охраняться. От их жизни зависит нормальная жизнедеятельность больших рек — Томи, Оби. Ведь малые реки питают их водой, обогащают кислородом. Горная река — природный смеситель. В ней происходит процесс обогащения вод. И нельзя забывать, что от судьбы малых рек Горной Шории зависит судьба городов, заводов Кузбасса. Вот-вот встанет проблема добычи чистой воды.

Нет, я не говорю о том, чтобы вообще не прикасаться к малым, но весильным рекам. Ученые давно доказали и дали практические советы по использованию природных ресурсов. Выход-то очень прост: брать у природы столько, сколько ежегодно возобновляется. Брать и экономно расходовать.

Научные теории, гипотезы относительно разбираемой проблемы давно известны. Знают их и лесопромышленники. Тем не менее, лишь возьмут в руки топор, — так обо всем забывают, кроме процента, плана. Опыт Тельбеса их ничему не научил. Ломать — не строить... Теперь, выходит, очередь за Кондомой. Она побольше, посильнее, чуть дольше проживет, хотя ей трудненько приходится. Помимо лесосплава, который продолжается, несмотря на запрещения и законы о водных ресурсах, Кондому яростно атакуют горнорудные предприятия Кузнецкого металлургического комбината: Таштагольский рудник, Мундыбашская, Абагурская аглофабрики. «По-хозяйски» прикладывают руку к реке шахты комбина-

та «Южкузбассуголь»: «Осинниковская», «Кузбасская».

Среди недругов Кондомы особенно выделяются: Мундыбашская и Абагурская аглофабрики. Возьмем Мундыбаш. За двенадцать лет с начала эксплуатации хвостохранилища сосклардировано семь миллионов 830 тысяч кубов шлама. Почти по миллиону тонн «хвостов» откладывается ежегодно. Прикинем теперь, какая цифра получится с начала тридцатых годов, когда фабрика начала действовать. Несколько миллионов тонн шлама (только шлама, твердых взвесей) стекло в Кондому. Поезжайте на электричке Новокузнецк — Мундыбаш и внимательно смотрите на песчаные отмели. От Кузедеева и выше вы заметите серые пляжи. Это смесь природного песка и отходов аглофабрики.

В Новокузнецком участке Обь-Иртышской бассейновой инспекции мне сказали, что фабрика практически не сбрасывает сточных вод в реку. Была, мол, одна «подпольная» труба, и ту в 1972 году, должно быть, закрыли. По крайней мере, составляли акт.

Жива «подпольная» труба! Актом ее не закроешь. Слишком большой диаметр, а бу-мажка мала, маломощна. Акты пишутся, а труба спокойно плюется грязью.

Начальник техотдела фабрики Виктор Михайлович Могулин объяснил, почему труба так нехорошо себя ведет:

— Это вода с аглоцеха. Ее сейчас стало меньше. До прошлого года просыпь, мелочь от агломерата из-под машин, убирали водой, которая направлялась во внутренний отстойник. После отстоя воды шлак добывали краном, утилизировали. Возвращали в производство. В настоящее время на трех машинах эта операция отпала. Внедрили скрепковые конвейеры, из-под газового коллектора утилизируем до 100 тонн ежедневно.

— Сколько раньше брали, до прошлого года?

— Точной цифры не назову. Можно сравнить соотношение твердых взвесей с жидкостями. Раньше было 1:1700—1:2500, те-

перь — 1 : 5000. Иными словами, одна тонна шлама содержится уже в 5000 кубах воды. Сдвиги есть. Однако внедрение скрепковых конвейеров всю задачу не решает. Нужны кардинальные меры. И таковые принимаются. К концу 1973 года сибирский филиал института «Гипроруда» выдаст нам проект на строительство корпуса утилизации продуктов гидросмыва аглопеха. Замкнутый водооборотный цикл.

— Когда начнете строить?

— Тут-то и беда. Без помощи руководителей Кузнецкого комбината не обойтись. В-первых, горное управление КМК до сих пор не оплатило проектные работы. В-вторых, есть опасение, что строительство затянется на многие годы. Корпус стоит 700 тысяч рублей, а наша строительная группа едва осваивает по 250 тысяч рублей в год. Примите во внимание и такой факт — у фабрики, кроме очистных сооружений, разных проектов накопилось на четыре миллиона рублей. На шестнадцать лет хватит...

Как ни крути, а фабрике нужна надежная строительная база.

Я так понял Виктора Михайловича: и в ближайшие годы отходы с агломашин будут по-прежнему стекать в Кондому.

Существующий отстойник для стоков агломерационного производства не выдерживает никакой критики. Это неширокая лужа, протянувшаяся вдоль железнодорожного полотна, в которой нет возможности полностью отстояться стокам. И они идут в реку.

Несовершенно и шламовое хозяйство обогатительного цеха. Пять пульпонасосных станций связаны несколькими нитками стальных трубопроводов, на сварке, без температурных колен или соединений. Естественно, случаются прорывы. Недалеко от нового поселка и по сей день зияет глубочайший овраг — результат аварии. И на самой горе, перед поворотом в хвостохранилище, наверное, не раз прорывало трубы: весь клон в рудном песке.

Через шесть-семь лет первый отстойник фабрики будет заполнен. Двенадцать с половиной миллионов тонн шлама. Содержа-

ние железа — 9,5 процента. Технологии переработки подобных отвалов нет. И они частично разносятся, частично скатываются в реку.

Промышленные стоки Мундыбашской аглофабрики не спрячешь. За версту видно. Да и сам поселок все нечистоты втихую сбрасывает в реку. В старом поселке нет очистных сооружений. Хозфекальная канализация напрямую соединена с рекой. Сбрасывают нечистоты пекарня, бани, больницы и т. д. Без всякой очистки. В жаркий день я обошел поселок и нашел десятки труб, трубочек, нацеленных на реку. «Обстрел» идет с правого и левого бортов. Чистая вода не просочится.

В Мундыбаше много частных домов. Хозяева поближе к берегу строят бани, уборные. Из бани трубочка, от уборной канавка. Еще удар по реке. Малым калибром. (Кстати, этот метод построек практикуется по всей Кондоме. Почему-то ни поселковые, ни сельские, ни городские Советы не принимают мер, не призывают к порядку домовладельцев).

В новом поселке построены очистные сооружения. Но они далеко не совершенны. Есть проект. Хороший. С биофильтром. Два года назад начали строить единую хозфекальную канализацию. Из 258 тысяч рублей освоили 123 тысячи и решили сдать объект в эксплуатацию... в 1974 году. Геройские наметки при таких темпах работы.

— Выход есть, — говорит заместитель директора фабрики по капитальному строительству Яков Павлович Горевских, — значительные объемы строительных работ необходимо передать тресту Таштаголшахторудстрой. У него есть все возможности нам помочь. Иначе мы своими силами будем десятки лет ковыряться...

Думается, найти поселку подрядчика не так уж трудно. Нужны лишь настойчивость директора фабрики и объективный взгляд на вещи руководителей Кузнецкого комбината.

Последним давно надо бы навести порядок и в пионерском лагере «Кузнецкий Артек». Здесь не прячут фекальную трубу в

кустики. Спрятали бы, да рельеф местности не подходящий. Сами корпуса стоят на взгорье, а канализация выходит на ровный травянистый берег. Дальше протянулась гравийная коса. Камушки гладкие, светлые. На них-то и стекают фекалии. В большую воду нечистоты уносит сразу, в летний засушливый период они образуют омерзительное озерцо, соединенное с Кондомой. В ней купаются, полощут белье. Например, Новокузнецк производит частичный забор воды, фильтрует ее и использует в быту. Никто не подозревает о крупнокалиберной трубе в пионерском лагере.

Трубу эту мастерили с любовью, прочно, на века. Уложили десятки кубов монолитного бетона (чтоб весной льдом не срезало), внутрь затолкали сорокасантиметровую стальную трубу. Получился своеобразный ДОТ. Не берут его ни лед, ни акты блюстителей чистоты природы.

Вот бы с такой основательностью построить для лагеря небольшие очистные сооружения. Время есть, не один год здесь будут проводить лето дети.

К слову сказать, и в других местах массового отдыха на Кондоме почти нет очистных сооружений. Нет даже выгребных ям.

Функции санитара и ассенизатора выполняет Кондома. До каких пор?!

Мы уже как-то свыклись с мыслью, что главными врагами рек стали промышленные предприятия: фабрики, заводы, шахты и лесозаготовители. Зачастую не берем в расчет вышеприведенные «мелкие» факты. Но собранные воедино канализационные системы поселков и городов на Кондоме образуют поток грязи, равный тому, который выбрасывает крупное промышленное предприятие. Только течет этот поток по капельке, незаметно, в глаза не бросается, как Аба в Новокузнецке, вызывающая жалость и отвращение горожан.

Лучше, чем в других населенных пунктах, организована очистка бытовых сбросов в Таштаголе. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Я беседовал с ра-

ботницей городской санэпидстанции Валентиной Алексеевной Оркиной.

— За сутки город сбрасывает около пяти тысяч кубов бытовых стоков. В очистных сооружениях происходит их полная обработка. Твердые осадки вывозим на ассенизационное поле. В конечном счете стоки очищаются до 86 процентов.

— А по санитарным нормам до какой кондиции нужно их доводить?

— До 92 процентов...

— ?!

— Мощности маловаты. Проект предусматривает пропуск 1800 кубов, а практически идет три-четыре тысячи, в паводок — пять.

Врачи Таштагольской городской санэпидстанции не дают покоя ни горисполкому, ни дирекции рудника. При необходимости прибегают к крайним мерам. В прошлом году произошел такой случай.

Был паводок как паводок. Сошел лед, река постепенно входила в свои берега. Однако с понижением уровня вода в Кондоме не светлела, оставалась по-прежнему мутной. На санэпидстанции забеспокоились. Тщательно обследовали реку насколько могли вверх по течению. Никакого результата. Когда Кондома окончательно вошла в берега и все-таки оставалась желтой, решили осмотреть ее с вертолета, вверх по течению обнаружили работающую драгу и гидромонитор. Конечно, золотодобытчики и не думали, что они вредят кому-то. Особенно реке. Очистится сама. Поэтому и не делали отстойников.

Между тем, вред от драги огромный. Мало того, что русло за сотню лет не восстановится (с этим приходится мириться — золото надо добывать, ничего не поделаешь), так еще, пожалуй, самое главное — мелкодисперсные взвеси не осаждаются на дно вплоть до Томи. Тончайшие частицы глины, песка губят рыбу, выводят из строя городские водозаборные сооружения в Таштаголе и Новокузнецке.

Приняли меры. Гидромонитор вообще эксплуатировать запретили (еще нет техноло-

гии отстоя воды после этого агрегата), а у драги сделали пять последовательно соединенных отстойников.

Река стала чище. Действия работников санэпидстанции и Новокузнецкого участка Обь-Иртышской инспекции заслуживают всяческих похвал. Беда лишь в том, что они не в силах полностью контролировать деятельность золотодобытчиков. Если в прошлом году им удалось поймать их за руку, то нынче это сделать труднее. «Золотари» ушли за «кордон» — в Алтайский край, к поселку Талон, и спокойно мутят воду оттуда. Попробуй, останови их! Не подчинятся. Край другой. Можно, разумеется, действовать через крайисполком, но пока действует соответствующее решение — лето кончится.

Золотодобытчики — народ кочевой: сегодня здесь, завтра там. В одном месте их «засекут», перебазироваться на другое. Нынче, например, забрались в верховья Мундыбаша. Глина прет лавиной.

Последнее время увеличился выпуск автомобилей. И сразу проблемы: где хранить, где вести профилактику машин. Гаражи строят всюду, а владелец машины бьется уже над другой проблемой: где помыть свой транспорт. Летом просто. Едет автолюбитель со своим семейством на Кондому, загоняет автомобиль, как лошадь, в реку, и вся недолга. На берег выезжает чистенький, помытый, а вниз по течению плывут нерастворимые масла, бензин.

Мотоциклисты, водители грузовых автомобилей, не жалея колес, гонят свою технику по отменям, дабы не слезая с сиденья смыть с железа грязь.

И я ни разу не видел, чтобы за мытье машин кого-нибудь наказали или, на худой конец, прогнали с реки.

Но, допустим, появится у нас речное ГАИ. Есть ли уверенность в том, что машины перестанут купаться в реке? Нет уверенности. Водители все равно исхитрятся. Нужда заставит. Ведь в поселках, городах почти нет специальных моечных площадок с обычным шлангом. А разве так уж сложно их

соорудить? Не надо заумных проектов, больших капиталовложений. Нужна обыкновенная забота хозяйственников, добросовестное отношение к своим обязанностям.

Каждую весну городские газеты начинают кампанию по охране природы. Но к чему сводится эта борьба? Не ломайте черемуху! Правильно, не надо ломать. Однако, поднимая шум вокруг сломанной ветки, мы невольно направляем общественное мнение в сторону от сути проблемы.

Весной рыбоохрана начинает яростно гонять браконьеров. Тоже правильно. Пора икромета, надо беречь рыбу. А где находятся эти блюстители порядка в остальное время года? Разве не губит ежесуточно рыбу Западно-Сибирский металлургический завод, сбрасывая в реку Есауловку каждый день по 20 тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков? Почти столько же грязи выбрасывают Кузнецкий металлургический комбинат, шахты Киселевска, Прокопьевска в Абу. Один ученый товарищ из Сибирского металлургического института подсчитывал, что если поставить на Абе флотационную машину, то твердыми извлечениями из реки можно круглый год кормить одну домну комбината!

Другой пример. На озере (старица Кондомы) в районе станции Новокузнецк-Восточный всплыли на поверхность несколько тонн карасей. Было установлено, что в январе 1973 года на старом мясокомбинате чистили котлы с применением азотной кислоты. Стоки сбрасывались в близлежащее болото без очистки. Зимой яд спокойно пролежал под снегом, а в апреле потек в озеро.

Надо сказать, что мясокомбинат регулярно производит жестокую «профилактику» безымянного озера. Территория предприятия находится в антисанитарном состоянии, и во время паводка, дождей гнилостные стоки вместе с другой промышленной грязью просачиваются в озеро. Содержание вредных примесей в воде в 8—9 раз превышает предельно допустимые нормы. Засоряется водоем, на километр в округе распространяется отвратительный запах.

Обь-Иртышская инспекция, городская санэпидстанция, Новокузнецкий участок рыбоохраны неоднократно накладывали на руководителей мясокомбината штрафы. Директор Н. П. Арестов всякий раз клялся, что «разрабатывает мероприятия», прекратит сброс неочищенных стоков. Но факты говорят о другом.

Седьмого мая 1970 года руководству комбината предложено «разработать план мероприятий, способствующих снижению загрязнения сточных вод». Указан был и срок — 1 июня 1970 года. Ничего не сделано. Два года спустя — новый акт. Инспекция рекомендовала «организовать очистку биофильтра, чтобы добиться от него максимальной эффективности».

Прошел год, а воз и ныне там.

Трудно поймать преступников за руку. Ни химлаборатория Обь-Иртышской инспекции, ни санэпидстанции не могут точно установить, исследуя отравленную рыбу, какая именно кислота попала в воду, с какого предприятия. Определяется лишь наличие органических веществ. Пока лишь в Москве, Ленинграде и Астрахани есть такая возможность. Нужен, конечно, специалист, нужна соответствующая лаборатория. А их нет. Для такого города, как Новокузнецк, где огромное количество предприятий, эту проблему нужно решать. Иначе мы будем обвинять предприятия «вообще», разговаривать «вообще», агитировать за охрану природы тоже «вообще». Лаборатория же укажет конкретного виновника.

От устья Кондомы до Таштагола стоят в реке экскаваторы, работают бульдозеры. Кое-где построены специальные погрузочные стальные эстакады.

Гребут гравий. Миллионами кубометров. Специализированные дорожные управления, заводы железобетонных конструкций и отдельные предприятия. Для хозяйственных нужд. Река мечется от котлована к котловану, нарушается веками ухоженное русло. Вода растекается от берега до берега — увеличивается площадь испарения. Влага теряется.

О вредном влиянии добычи гравия из рек разговоры ведутся давно. Разработка мини-карьеров в поймах запрещена. Все равно гребут. Секрет настойчивости и смелости хозяйственников понятен — себестоимость продукции уж больно низкая. Отгладог вскрышные работы. Подогнал технику, встал поудобнее и понукай!

Недавно на Кондоме еще один экскаватор появился. В районе поселка Сарбала. На устье речки Калтан дорогу сделали. Угольной породы навозили. Весной смоем. А чтобы речушка не мешала, ее загнали в канаву, экскаватор походя это сделал. Удобно стало МАЗам и КрАЗам к Кондоме подъезжать. Трудно сейчас поверить, но по Калтану сплавляли лес! А сейчас в нем воды не больше, чем в арыке. Страшно подумать, что такое будущее уготовано и Кондоме.

— От какой организации работаете? — спросил я экскаваторщика в обеденный перерыв.

— Шахта «Алардинская» комбината Юж-кузбассуголь.

— Зачем же горнякам гравий? На угольном карьере щебенку можно брать после вскрыши.

— Гравий нужен для подсыпки дорог. Он лучше.

— А речку не жалко?

— А чего ее жалеть?!

Разве руководители предприятий не знают законов? Всем известен Закон Верховного Совета СССР от 10 декабря 1970 года, который утвердил «Основы водного законодательства СССР и союзных республик».

20 сентября 1972 года вышло Постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов».

Эти документы были опубликованы в печати, по радио и телевидению. Все их знают. А если знают, то почему руководители промышленных предприятий не выполняют их? На этот вопрос чаще всего отвечают: нет средств.

Неверно! Деньги есть! На строительство

бчистных сооружений на Кузнецком металлургическом комбинате ежегодно выделяются миллионы рублей. В прошлом году планировалось освоить 3 миллиона 638 тысяч рублей — освоено же 2 миллиона 649 тысяч. Целый миллион не использован. Не денег, а любви к природе нет.

Как же решать проблему сохранения рек? Какие меры принимать? В сущности теоретически все решено. Изданы законы, разработаны эффективные проекты. Министерство черной металлургии разработало и утвердило специальные мероприятия по уменьшению вредных выбросов на ряде металлургических заводов, в том числе на Кузнецком комбинате и Западно-Сибирском металлургическом заводе.

Меры мерами, а контроль за деятельностью предприятий необходим. На мой взгляд, интересное предложение сделал главный инженер института Сибгипромез В. Буров: «Кардинальное решение вопросов по оздоровлению атмосферы и водоемов может быть достигнуто только общими усилиями всех предприятий и их генеральных проектировщиков. Работу их по охране природы надо кому-то направлять. В настоящее время в городе нет такого органа. Думается, что таковым мог бы стать научно-технический совет при горисполкоме во главе с председателем горисполкома. В составе совета, вероятно, должны быть руководители предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, медицинских учреждений. На совете должны обсуждаться все разработанные мероприятия по охране природы, а также заслушиваться отчеты руководителей о выполнении принятых и одобренных советом мероприятий.

Рекомендации совета по вопросам охраны природы должны быть обязательными для всех предприятий и учреждений города».

Строжайший контроль надо установить и за лесозаготовителями, золотопромышленниками, строителями. Иначе они будут продолжать калечить Кондому, планомерно и беспощадно уничтожая одну из интереснейших рек южного Кузбасса.

Большую помощь реке могут оказать лесхозы. Уже сейчас на малопродуктивных пастбищах, неудобных по правому берегу Кондомы подрастают сосновые боры. Доброе дело делается. Лет через пятнадцать-двадцать лысые горы могут полностью исчезнуть. Трудность, однако, состоит в том, что лесхозы не располагают соответствующей техникой, мало у них людей.

И еще одно соображение. С одной стороны, лесхоз проводит большую работу, восстанавливая леса, с другой, мало внимания уделяет сохранности тайги. Лишь под Новый год, когда начинается хищническая заготовка елок, активность работников леса повышается. А только ли в декабре свирепствуют браконьеры? Летом, в пору массовых отпусков, коллективных выездов на лоно природы леса уничтожаются не меньше. Кроме того, по Кондоме в сторону Мундыбаша последние два-три года началось интенсивное строительство дач в водоохранной зоне. Особую активность проявляют железнодорожники, внедряясь в заросли запрещенной полосы.

Пора наконец упорядочить строительство по берегам реки, контролировать отдых «дикарей». Ведь бесконтрольность в этом вопросе тоже «выстрел» по реке.

Словом, пора дать бой тем, кто по-варварски относится к Кондоме. Снять с нее осаду, убрать разнокалиберные черные трубы.

Нельзя плевать в колодец. Пригодится воды напиться.

Большие права даны санэпидстанциям, бассейновым инспекциям. Но, к сожалению, они мало пользуются этими правами.

На помощь реке должны прийти и местные Советы депутатов трудящихся, общественность тридцати населенных пунктов Кондомы. Ни одно нарушение не должно оставаться незамеченным.

Контроль, контроль и еще раз контроль. Виновные должны строжайше наказываться. Только так мы можем добиться эффективного решения проблемы сохранности Кондомы.

2. НОВОКУЗНЕЦК

М. Сорокин

«Бунташное» село

На высоком берегу, в среднем течении реки Томи, в окружении сосновых лесов и березовых рощ, неподалеку от начинающейся тайги, в одном из самых красивых мест нашего края удобно расположилась Пача, старейшее из самых старинных сел Кузбасса. Когда глядишь на привольно раскинувшиеся вокруг пастбища и луга, на ухоженные поля, обработанные заботливыми руками земледельцев, невольно начинаешь восхищаться дальновидностью, практичностью первых русских поселенцев в этом краю, их умением выбирать удобные места для своих деревень.

Земли, на которых во второй половине XVII века возникло село Пача, принадлежали Томскому Богородице-Алексеевскому монастырю, одному из крупнейших феодалов-землевладельцев Западной Сибири. Только в районе Пачи монастырь владел всевозможными угодьями (пашнями, сенокосами, пастбищами, лесными дачами) общей площадью более 400 квадратных километров.

Здесь в 1682 г., по данным переписной книги, проживала 241 душа мужского пола и имелся 31 крестьянский двор. Плодородные земли Пачи давали новоселам возможность успешно заниматься земледелием, луга и пастбища предоставляли скоту обильный корм, по реке Томи можно было легко сбывать продукты земледелия, скотоводства и промыслов. Хорошим подспорьем в крестьянском хозяйстве являлись рыбная ловля, охо-

та, заготовка кедрового ореха, сбор ягод и грибов. Казалось, что все это должно было радовать первых поселенцев на Паче, но радость земледельца омрачал жестокий феодальный гнет их господина — монастыря, с его жадной, охочей до чужого труда братией.

Крестьянам, соглашавшимся поселиться на богатых монастырских землях, настоятель и его помощники предоставляли «подмогу» и «ссуду». Составлялась кабальная запись, «ряд», по которому поселянин обязывался «вечно» жить во владениях монастыря, выполнять на него барщинные работы, платить всевозможные оброки, нести различные повинности. Вот любопытный пример одной из таких кабальных записей: «...и за те заемные деньги мне с женой своей... и с сыном и дочерьми своими у архимандрита с братией жить в вечной служилой работе и всякие монастырские и деревенские работы работать без всякого послушания, что они, архимандрит с братией, не заставят».

Крестьянам приходилось отдавать монастырю пятую часть урожая, на собственных лошадях возить грузы, ставить сено, заготавливать и доставлять в монастырь дрова, платить оброки деньгами и продуктами своего хозяйства (маслом, мясом, мукой, зерном, крупой и т. д.). Красноречивое свидетельство тому — цитируемый документ: «Всякого хлеба, что бог пошлет, пятая мера в монастырскую казну будет. Да нам же на

всякий год с человека ставить в монастырскую казну по сажени дров поленных, и те дрова в монастырь свезти, да по полуосмине делать круп из монастырского хлеба в монастырскую казну, да по безмену масла с нашего скота. А жить нам вверх по Томиреке на монастырской земле, на Паче».

Более ста лет владел Богородице-Алексеевский монастырь селом Пачей и окрестными деревнями. И все эти годы не прекращалась упорная борьба пачинцев против невыносимого феодального гнета, чрезмерных поборов, безудержного взяточничества и вымогательства корыстолюбивых и развратных монахов. Жители Пачи прослыли в глазах архимандрита, чиновников томской воеводской канцелярии, светских и духовных властей Западной Сибири в далеком Тобольске как опасные бунтари, люди мужественные, непокорные, не смирившиеся с угнетением, готовые бороться за свою свободу.

Проявление недовольства крестьян было для монастыря весьма неприятным событием. Поэтому в монастырском делопроизводстве об этом стремились писать как можно меньше и по возможности предельно кратко. Однако за скупыми строками документа можно без особого труда почувствовать полную страсти, накаленную атмосферу борьбы крестьян села Пачи против своего сюзерена.

В 1738 г. жители Пачи отказались платить монастырю оброки. Нагрянувшим в село представителям монастырской администрации крестьяне твердо заявили, что если они посмеют выколачивать оброк силой, то «без великого греха не обойдется».

За столетний период владения Пачей не один раз между крестьянами и представителями монастыря вспыхивали настоящие сражения, не раз крестьянам приходилось пускать в ход не только кулаки, но и хвататься за топоры, вилы и колья. В 1744 г., например, пачинцы преподали хороший урок приказчику Богородице-Алексеевского монастыря, ненавистному взяточнику и вымогателю Григорию Иванову-Малороссийцу. Избитый крестьянами, он был вынужден спасать свою

жизнь бегством и искать помощи у Томской воеводской канцелярии.

В конце 50 — начале 60 гг. XVIII века по всей Сибири прокатилась целая полоса вооруженных выступлений монастырского крестьянства против гнета церковных феодалов. И вновь жители Пачи стали активными участниками этой борьбы.

В ходе сражений с монастырем пачинцы выдвинули замечательных организаторов — вожаков крестьянского движения. Одним из них был Григорий Иванович Пырников. Он сумел поднять крестьян на решительную борьбу против монастыря. Жители Пачи заявили властям, что «пришли от монастырских работ и тягостей в крайнее разорение». Сельский сход принял единодушное решение «от монастыря прочь отказаться». Началась многолетняя упорная борьба пачинских крестьян против своего господина.

Методы этой борьбы были различны. Крестьяне писали жалобы в Томск, в воеводскую канцелярию, в Тобольск сибирскому генерал-губернатору и даже в Петербург самому императору, отказывались выполнять в пользу монастыря феодальные повинности, а нередко вступали в настоящие сражения с представителями монастыря.

Автором нескольких десятков челобитных был Г. И. Пырников, один из немногих грамотеев среди жителей Пачи. В своих прошениях он нарисовал яркую и правдивую картину бесправного положения пачинских крестьян середины XVIII века.

Светские и духовные власти делали все возможное для того, чтобы заставить замолчать этого мужественного и неукротимого человека. Его заковывали в цепи, бросали в тюрьму, заставляли выполнять каторжные работы, но никакие преследования не могли сломить Пырникова.

В 1759 г. по призыву Пырникова пачинцы вновь, в который уже раз, прекратили выполнять монастырские повинности. Настоятель монастыря Исайя с горестью отмечал, что «в сенокосное время и в жнитво в Паче на работах происходит остановка и казне монастырской ущерб».

Несколько лет подряд не прекращались волнения пачинских крестьян. Жители села приняли решение «жить вольно», выразив тем самым вековечную мечту всего трудового люда крепостной России.

Пачинцы не были прекраснодушными мечтателями. Они понимали, что предстоит упорная борьба с очень сильным противником. Поэтому для защиты своих «вольностей» они создали отряд самообороны, вооруженный ружьями, луками, топорами, вилами.

Для приведения крестьян в повиновение томская воеводская канцелярия направила в Пачу большой отряд казаков. Необученным военному делу крестьянам было трудно противостоять регулярным войскам. С их помощью волнения пачинских крестьян в конце 50 — начале 60 гг. XVIII века были жестоко подавлены. Но бесплодную борьбу монастырского крестьянства считать нельзя. Под натиском восставших царское самодержавие было вынуждено пойти на некоторые уступки. В начале 60-х годов XVIII века правительство провело так называемую секуляризацию церковных земель. Возникла новая категория феодально-зависимого крестьянства. Так закончился столетний период владения селом Пачей Томским Богородице-Алексеевским монастырем.

Перевод в новое ведомство, под управление коллегии экономии, не принес пачинцам освобождения от феодального угнетения. На смену феодалу-монастырю пришел новый владелец — государство. Однако экономическое положение жителей села Пачи улучшилось. Во всяком случае, после реформы до самого конца XVIII века нам не известны какие-либо серьезные выступления пачинских крестьян. Очевидно перевод в государственное ведомство вполне соответствовал желаниям частновладельческого (помещичьего и монастырского) крестьянства.

Однако облегчение, вырванное жителями села Пачи в итоге ожесточенной борьбы, оказалось недолгим. Спустя тридцать три года царское правительство приняло решение приписать крестьян Пачинского ведом-

ства (а к этому времени Пача стала центром большой группы деревень) к Колывано-Воскресенским заводам.

Приписка коренным образом изменяла положение крестьян, вменяла им в обязанность ежегодное выполнение заводской барщины, причем в местах, удаленных за сотни километров от родных деревень, в условиях бдительного надзора корыстолюбивых смотрителей за работами. Все это вызвало новый взрыв возмущения жителей всего Пачинского ведомства. С этого времени за Пачей окончательно закрепилась почетная репутация «бунташного» села, жители которого не побоялись выступить против воли самого императора.

В августе 1797 г. в Пачу прибыл земский управитель Ахвердов, важный чиновник канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. Некоторое время спустя от земской избы в деревни ведомства устремились нарочные, срочно требуя на сход представителей всех населенных пунктов. Местные власти спешили сообщить крестьянам важный указ императора Павла I.

Когда в Пачу собрались жители окрестных деревень, им было объявлено, что по указу императора они приписаны к Колывано-Воскресенским заводам и переходят под управление канцелярии горного начальства. Томский нижний земский суд, которому ранее подчинялись крестьяне пачинского ведомства, с этого времени утрачивал над ними всякую власть.

Крестьяне, заслушав сообщение Ахвердова, наотрез отказались подчиниться указу императора. В качестве предлога они использовали тот факт, что управитель не смог предъявить им печатный экземпляр указа «с собственноручной подписью императора».

Все попытки Ахвердова заставить крестьян признать себя приписными и провести необходимые для этого мероприятия (составить списки, произвести опись их состояния) натолкнулись на решительное и единодуш-

ное сопротивление жителей пачинского ведомства.

Позднее земский управитель писал начальнику заводов Качке, что он приложил все свое старание и силы для того, чтобы убедить крестьян в том, что они приписные, однако «никак их уверить не мог». И дело, конечно, не в излишней недоверчивости крестьян, а в их прямом сопротивлении приписке, нежелании согласиться с решением правительства. Они прямо заявили, что «приписными к Колывано-Воскресенским заводам заводскими крестьянами именоваться не желают, а остаются в прежнем своем экономических крестьян звании».

Недооценивать всю серьезность возникшего положения было невозможно. На сельских сходах, во всех селениях пачинского ведомства крестьяне горячо обсуждали создавшуюся обстановку. После долгих колебаний и раздумий было принято решение послать ходоков в Петербург с прошением на имя императора. Для этой цели с каждой ревизской души было собрано по полтора рубля на путевые расходы и прочие мирские надобности.

Спустя месяц, 13 сентября 1797 г. в Пачу вновь прибыл земский управитель. На этот раз он твердо решил заставить крестьян подчиниться царскому указу. Однако все попытки Ахвердова привести жителей пачинской волости в повиновение оказались тщетными. Поздно вечером в дом, где остановился земский управитель, пришли староста волости и четверо крестьянских выборных. Они передали ему единодушное решение последнего сельского схода. В нем говорилось, что пачинцы «ни состояния сказать, ни другого чего о себе знать дать не намерены... будут ли оне заводскими точно не знают, а надеются больше, что оне будут под ведением томского земского суда».

Приближалось время выхода крестьян на заводские работы, на возку угля и руды. Именно потому канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства стремилась как можно быстрее подавить беспорядки в пачинской волости, заставить крестьян лю-

бой ценой подчиниться распоряжениям заводских властей. Возможно, поэтому канцелярия приняла решение сменить земского управителя, очевидно рассчитывая на то, что его преемник окажется более удачливым.

Пачинские крестьяне были переданы в ведение управителя Беликова. Однако и в его рапортах в канцелярию горного начальства мы находим горестные рассуждения о том, что пачинская земская изба на все его многочисленные послания «не только не желает никакого исполнения, но и не отвечает на оные».

Сопротивление жителей Пачи и окрестных деревень натиску горной администрации было невероятно упорным. Прошло полгода после первой встречи Ахвердова с крестьянами, а заводским властям, несмотря на все их старание, не удалось ни на шаг приблизиться к поставленной цели.

Не дали желаемых результатов и попытки нового земского управителя использовать авторитет церкви и местного духовенства. На все уговоры своего сельского священника пачинцы твердо отвечали, что обсудят «между собой каким образом можно будет от нахождения под ведомством канцелярии горного начальства высвободиться».

Тогда земский управитель решил проучить бунтовщиков и приказал здесь же на сходе арестовать двух зачинщиков. Однако разъяренная толпа оказала властям сопротивление и отбила у солдат арестованных. Беликову пришлось с позором убраться из Пачи.

Миновало еще несколько месяцев. Безуспешными оказались все попытки гражданских властей собственными силами справиться с волнениями крестьян в Пачинской волости. В марте 1798 г. о событиях в далекой и неведомой Паче стало известно в Петербурге. О них докладывали самому императору Павлу I. Император был страшно разгневан дерзостью пачинских крестьян. 22 марта 1798 г. им был подписан указ, который санкционировал использование регулярных войск для приведения бунтовщиков в повиновение.

Чрезвычайно любопытен сам текст указа.

В нем говорилось: «Господин генерал-майор граф Ивелич! С получением сего имеете Вы, снесясь с начальником Кольвано-Воскресенского горного начальства, употребить полк, Вам вверенный, на приведение в послушание вновь приписных к оным заводам экономических Тобольской губернии крестьян, неповиновующихся присланному им об оном указу. В случае же большого сопротивления употребите силу оружия и заставьте уважать войска наши. Пребываю Вам благосклонный Павел».

Месяц спустя в Бердск, где был расквартирован томский мушкетерский полк, прискакал фельдъегерь с пакетом от императора. Вскрыв массивные печати с государственным гербом, Ивелич немедленно ознакомился с его содержанием. Тотчас в Барнаул с письмом к начальнику заводов Г. С. Качке был направлен гонец. Генерал требовал «наипоспешнейше его уведомить о произошедших обстоятельствах неповиновения тех крестьян».

Когда дело касалось подавления волнений трудящихся, власти действовали весьма оперативно. В распоряжение генерала Ивелича с необходимыми документами были спешно командированы сын начальника округа Александр Качка и шихтмейстер Второв. Интересная деталь — участвовать в усмирении пачинских крестьян начальник округа посылает своего сына. У старого службиста Гавриила Симановича Качки, несомненно, при этом были далеко не деловые соображения. Спору нет, подавление крестьянских волнений поручалось лицам, как правило, наиболее опытным и пользующимся особым доверием царских властей. Но уж очень хотелось правительству огромного края расчитать своему сыну путь к карьере. Увидит петербургское начальство особое усердие семейства, возьмут в Петербург, в столицу.

Вместе с Качкой-младшим и Второвым к управляющим ведомствам, через которые пролегал маршрут движения томского мушкетерского полка, от Бердска до Пачи прискакали гонцы с приказами от начальника округа лично проверить и обеспечить порядок

на дорогах, мостах, переправах и пароммах. Управители были обязаны неотступно находиться при генерале Ивеличе во время следования солдат по территории ведомства.

К подавлению «беспорядков» в Пачинской волости царские власти готовились как к настоящей войне. По своему социальному значению это и была настоящая гражданская война трудящихся против феодального угнетения, масштабы которой были продиктованы социально-экономическими условиями развития края, уровнем общественного сознания масс и множеством других важных факторов.

2 мая 1798 г. томский мушкетерский полк окружил село Пачу. Вновь начались «увещевания», уговоры крестьян признать себя приписными к Кольвано-Воскресенским заводам. Характер имеющихся в нашем распоряжении документов не позволяет восстановить во всех деталях происшедшие в первых числах мая 1798 г. события. Однако отдельные выражения из победной реляции генерала Ивелича, такие, как «употребил всевозможные воинские средства», говорят о том, что население Пачи оказало царским войскам упорное сопротивление. Заставляет задуматься и такой факт: полк окружил Пачу 2 мая, а в село вступил лишь четвертого.

Волнения крестьян в Пачинской волости по продолжительности, по стойкости и упорству ее участников и. наконец по масштабам действующих против крестьян войск относятся к числу самых крупных из известных нам выступлений трудящихся Западной Сибири. При подавлении волнений в Богородской, Нелюбинской, Николаевской, Убинской, Крутоберезовской, Усть-Каменогорской, Бачатской, Чаусской, Ояшинской волостях, в Бобровской лесосеке власти обычно обходились небольшими воинскими командами, в крайнем случае ротой солдат и казаков. Пача уже удостоилась особой чести, «царской милости» — туда направили целый полк солдат.

Упорство, с которым сражались пачинцы против приписки, объяснялось рядом причин. Во-первых, приписка затрагивала коренные

интересы крестьянства, существенно ухудшила их материальное и правовое положение. Во-вторых, свободолюбивые традиции села Пачи, прославившего не только у местных, но и центральных властей, как «бунташное» село, имели немаловажное значение. После подавления восстания крестьян Долматова монастыря в Зауралье в Пачу переселилась большая группа участников классовой борьбы. Соединившись с местными бунтарями, они еще более укрепили социальную базу будущих сражений. Свободолюбивый характер пачинцев, их ненависть к феодальному гнету особенно ярко проявились в событиях 1797—1798 гг.

Генерал Ивелич мог сообщить в Петербург, что поручение Павла I выполнено. Томский мушкетерский полк справился с крестьянами пачинской волости. Продолжавшееся почти год волнение было подавлено.

Душителю пачинцев получили царские награды. Ивелич и его офицеры были удостоены

особой царской милости. Не обошли и представителей горного ведомства. В послужном списке Александра Качки появилась запись, что за блестящее выполнение важного поручения, приведение крестьян пачинской волости в повиновение, он был удостоен благодарности императора и получил награду — золотой перстень с бриллиантом.

Как великую победу встретила известие об усмирении пачинских крестьян канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства. Земским управителям огромного горного округа было приказано читать на сельских сходах указы Павла I о подавлении волнений в Пачинской волости, победные реляции генерала Ивелича и другие документы. Власти стремились использовать эти материалы как средство идеологического воздействия на трудящихся. Но здесь-то и вышла осечка — слава о мужестве и стойкости пачинцев далеко разошлась по необъятным просторам Западной Сибири.



О. Павловский

Гусь— блюститель порядка

Жили мы тогда в Молдавии, на окраине Кишинева, в домике с прилегающим к нему большим старым садом. Хозяйства мы не вели, но держали около десятка курочек, которые весь день копались в саду, выискивали червей, склевывали со стволов деревьев всяких жучков и паучков.

Разумеется, одними червячками и паучками курица сыта не будет, и жена моя дважды в день высыпала на площадку перед крыльцом плошку кукурузного зерна.

Первой, где бы она ни была, мчалась к крыльцу, припустив крылья и слегка припадая на правую ногу, невзрачная курица с глазами навкаты и острым хищным клювом. Она громко и воинственно вхохотала, отгоняя всех, кто пытался склонить зернышко наперед. И пока она не набивала свой зоб до предела, ни одна другая курица не осмеливалась подойти к зерну.

Мы пробовали отгонять нахалку, шикали, даже стегали тонкой лозинкой — ничто не помогало. Она лишь недовольно взмахивала крыльями, подсакивала, кудахтала, но от зерна — ни на шаг. В конце концов мы махнули на нее рукой — кукурузы хватало всем, и не так уж важно, кто наклюется первым.

Как-то мы решили откормить к Новому году гуся. Долго ходили по базару, выбирали, торговались и купили-таки гуся тощего и какого-то облезлого, но зато за сходную

цену. До Нового года было еще два месяца и за это время гусь мог значительно прибавить в весе.

Пришли домой, развязали тесемочку на покрасневших гусиных лапах и выпустили гуся во двор.

Гусь мне не понравился. Уж слишком каким-то вялым, безразличным ко всему показался он мне. Стоял, лениво переминаясь, оглядывал равнодушно двор.

Вышла жена с доверху наполненной зерном плошкой.

— Тип-тип-тип... Тега-тега... — позвала она.

Гусь не обратил на призыв никакого внимания, зато нахалка тут же вывернулась из-за угла дома, в момент разогнала сбегавшихся к зерну кур и стала жадно клевать.

Куры ходили вокруг, поквохтывали в ожидании, когда она наестся и уступит им место.

Гусь смотрел на нахалку, разинув клюв, словно никогда ничего подобного не видел, а ей хоть бы хны — набивает свой зоб без всякого зазрения совести. Гусь еще подивился, вытянул шею, переступил с лапы на лапу и сказал: «Га-га-га...», что на его языке наверняка означало: «Ах, как нехорошо!».

Нахалка продолжала клевать. Кроме крупного золотистого кукурузного зерна,

для нее сейчас ничего не существовало.

— Га-га-га, — снова сказал гусь и похлопал крыльями.

Нахалка даже и глазом не повела.

И тут произошло невероятное.

Переваливаясь с боку на бок, гусь подошел к ней, сказал «га!», схватил клювом за загривок и поволол в дальний угол сада. Ошеломленная курица даже не сопротивлялась. У забора гусь трепанул ее из стороны в сторону, отпустил, наказав на своем гусином языке, чтобы она больше себе таких вещей не позволяла, и приковылял обратно к крыльцу, где куры преспокойно клевали зерно.

Гусь пообедал вместе с курами, словно

давно был с ними знаком, а наказанная им нахалка долго еще охорашивалась у забора и сердито поквохтывала.

На следующий день она, видимо, забыла о происшедшем и снова, как прежде, попыталась изобразить из себя полновластную хозяйку двора.

Но не тут-то было. Гусь тут же схватил ее за загривок и, как она ни сопротивлялась, как ни кричала, оттащил к ограде и потрепал немного побольше, чем вчера.

И так продолжалось до тех пор, пока нахалка не оставила прежние свои привычки и не стала есть наравне со всеми.

В нашем дворе воцарились спокойствие и порядок.

Анатолий Амзоров

Журавушка

Когда они прилетели — никто не видел. Журавль и журавушка. Помнится только, что в апреле, когда весна начала согревать стылую грудь земли, журавушки подали голос с берега речки Каскал, недалеко от поселка. Быть может, острая снежная буря приземлила их на это болото, а может, свинцовая тяжесть крыльев после многодневного полета через моря и океаны заставила их опуститься на это место, но с того дня жители поселка почувствовали запах тепла и жизни в озорном разливе речки. И то болото, где поселились журавли, они называли Журавлиным. Когда незнакомец спрашивал дорогу, они отвечали:

— Доедешь до Журавлиного, а там свернешь направо — вот тебе и вся дорога.

Место было удобное для гнездовья. Над кручей — лес с залитыми солнцем лужайка-

ми и зеленеющие просторы равнин. А внизу под обрывом, словно рыба в час дождя, плескалась речка, грызла берега.

Утренней зорькой, когда вершины гор, двигая смутную пелену ночи, начинали наливаться молочно-розовым румянцем и когда свежий ветерок доносил с гор запах утренней прохлады, журавли подлетали на ближнюю лужайку, садились возле старой березы и, гордо покачиваясь на своих длинных ходулях, прогуливались к недалекому полю, где паслись стада коров и отары овец, без страха подходили к дороге. Впереди вышагивал, чуть растопылив широкие крылья, самец с серой челкой на лбу, а за ним печатала шаги журавушка.

Когда самец случайно удалялся от нее на почтительное расстояние, журавушка подавала гортанный звук, похожий на зов:

— Кру-рик, кру-рик.

Крурик тотчас же останавливался и, когда журавушка подходила к нему, грудью слегка подталкивал ее, будто говорил:

— Не бойся, моя дуреха, не уйду я от тебя.

Потом они, разбежавшись и взмахнув крыльями, высоко подымались в небо, долго кружили над полями и лесом и садились на болоте.

В мае началась кладка яиц. Журавли ожидали птенцов. Крурик теперь летал один, садился на лужайку и важно прохаживался недалеко от дороги. Потом, вдруг вспомнив о журавушке, тотчас же отрывался от земли, улетал на болото, возвращаясь к гнезду с добычей в клюве. Вдвоем они появлялись изредка, в утренние часы. Счастливые, они по-прежнему ходили друг подле друга, издавали радостные гортанные звуки и, налюбовавшись окружающим миром, улетали обратно в родное гнездовье.

Люди привыкли видеть журавлей. Каждый раз, проезжая мимо болота, они с любопытством смотрели, не покажется ли счастливая пара. Боялись потревожить их покой.

Но однажды на зорьке Крурик отправился на обычную свою прогулку, расправил крылья и дал знать о себе журавушке:

— Кру-ру-ру, кру-ру-ру.

Издалека, сквозь густые заросли тальника, он услышал знакомый ответ:

— Кру-рик, кру-рик, — словно она напутствовала: «Лети, милый, один, я не могу бросить гнезда».

Окрыленный Крурик взлетел в небо и, покружившись над лесом, приземлился возле густых зарослей пихтача. Лес таинственно шептался, тревожно шуршала трава. Крурик насторожился, оглянулся вокруг и, не обнаружив опасности, похлопал крыльями.

г. МЕЖДУРЕЧЕНСК

Неожиданно раздался выстрел. Горохом сыпанули с веток еловки, в смертельном страхе вылетел из-под куста и стремглав пустился наутек длинноухий русак.

Гордые глаза птицы подернулись мутной пеленой, и Крурик вяло припал к земле.

Вспугнутая выстрелом, журавушка стрелой взлетела в небо, разрезая грудью упругий натиск ветра. Увидев своего повергнутого наземь красавца, она пронзила после-ружейную тишину неба тоскливым раздражающим криком:

— Кру-ру-рик, кру-ру-рик!

Долго кружила она над удаляющимся браконьером, на поясе которого безжизненно болтался журавль. Она видела только его, все с тем же раздражающим криком то взвивалась вверх под самые облака, то камнем падала над самой головой браконьера, будто хотела погибнуть в неравной схватке с кровавым врагом.

Только к вечеру, когда ресницы солнца смежились и стали цепляться за островерхий пихтач на вершинах гор, усталая птица вспомнила птенцов, которые сегодня вылупились из яиц и теперь, при виде матери, жалобно запищали.

Не успел увидеть Крурик, как родились новая жизнь, новая любовь и счастье.

А журавушка с той поры надежно укрывала своих: еще не оперившихся птенцов, натаскивала им еды и улетала иногда на поле. Здесь она, поджав одну ногу, подолгу смотрела на дорогу, провожая печальными глазами проезжающие машины, словно отыскивала среди людей только одного — убийцу Крурика.

Уже к осени она боязливо вывела подросших птенцов на открытую лужайку и, несколько дней покружившись с ними над лесом, улетела на другое болото, поближе к теплым краям.

Илья Половинкин

ЮРГИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Юргинский район, расположенный на северо-западе Кузбасса, граничит с Томской областью. Эта территория, как и территория соседнего Яшкинского района, в годы первоначального освоения Сибири русскими входила в состав Сосновского острога — ближайшего к Томску. Именно здесь, к югу от Томска, появились первые деревни в глубине Западной Сибири.

Мы знаем имя первого русского человека, посетившего верховья Томи, места нынешнего Новокузнецка, в 1608 году, через 4 года после образования Томского острога. Это сподвижник Ермака конный казак Гавриил Иванов. Он участвовал в закладке Томска, привел к присяге на верность Русскому государству томских кузнецов-шорцев и взял с них первый ясак.

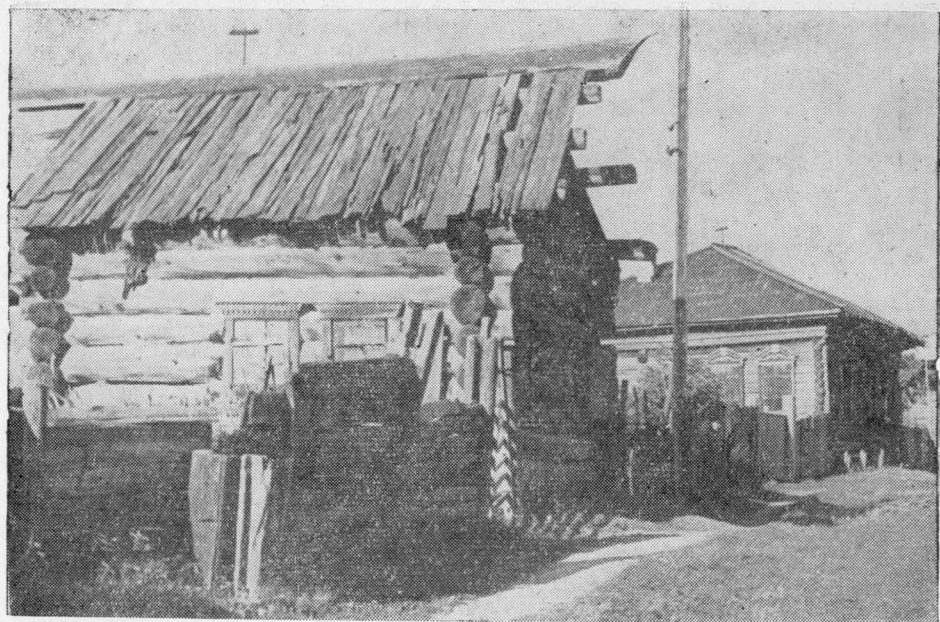
Ряд населенных пунктов Яшкинского и Юргинского районов возник до закладки Кузнецкого острога. В 1656—1657 гг. томский атаман Дмитрий Копылов, вернувшись из своего знаменитого похода на Лену, занялся землеустройством; в отписке об этом деле томских воевод Ивана Приемкова-Ростовского и Алексея Коковинского в Москву мы читаем, что атаман приискал «за Сосновой рекою порозжие переложные добрые земли и сказывают по смете будет десятин с 1000» и что около «тех земель многие томские служилые и посадские люди и пашенные крестьяне дворами построилися и пашню на себя пашут» (Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. 2, стр. 542). Переложные земли

не могли образоваться враз, до этого их надо было использовать многие годы.

С основанием Кузнецкого острога (1618 г.) число русских деревень на Томи стало быстро расти. В 1734 году по Томи проехал участник Сибирской академической экспедиции (в науке она известна под именем Второй Камчатской) С. П. Крашенинников, автор известного труда «Описание земли Камчатки». Он оставил ценный для нас документ: «Реестр деревням от Кузнецка вниз по Томи до Томска, с указанием поперстного расстояния между ними» (Архив АН СССР, фонд 21, опись № 5, листы 134—138). Из этого реестра мы узнаем, что берега Томи повсеместно освоены русскими людьми и даже есть речка Промышленная. На территории нынешних Юргинского и Яшкинского районов ученый зарегистрировал — и только на берегах Томи — 28 деревень, из них половина на правом и половина на левом берегу. Почти все эти деревни до сих пор сохраняют свои старые названия: Колбиха, Поповка, Искитим, Талая, Анкудиново, Басалаево, Асаново, Филоново, Томилово, Варюхино, Алаево и село Зелеево, где стояла церковь Фрола и Лавра.

Богатая история края, знакомство с его прошлым и натолкнули нас на мысль поискать в юргинских деревнях памятники прошлого.

Вначале мы обратились к литературе. Нашлась небольшая книжка, выпущенная лет 20 назад и принадлежащая перу ново-



Изда Поломошновых, XVII век — начало XVIII века

сибирского архитектора Е. А. Ащепкова, который побывал в Юргинском районе и отметил 5-6 интересных памятников зодчества. Мы выехали по этим следам. Увы! Ни одного дома, привлечшего внимание Е. А. Ащепкова, мы уже не нашли: их или снесли или перестроили. Надо было спешить.

Разъезжая по деревням, прикасаясь ладонями к жилищам пращуров, мы поняли: дома могут поведать не только о себе, но и о людях, которых они согревали.

Длинный век выпал на долю трех домов, сохранившихся каким-то чудом.

Первый из них находится в Талой, принадлежал он Сусловым. Последний из Сусловых из-за тесноты избы покинул ее лет 50 назад и вскоре умер. Однако в селе помнят Федора Ефимовича и знают, что тут жили его отец, дед и прадед. Впоследствии дом несколько перестроили — покрыли крышу шифером, приткнули сенцы.

Второй украшает — именно украшает! — деревню Колбицу, что раскинулась на левом

берегу Томи почти как раз против Писаных скал — ценнейшего памятника искусства эпохи неолита.

Третий до последних дней стоял на главной улице села Поломошное Яшкинского района. В 1971 году этот поломошенский дом — подлинный шедевр древнего русского деревенского зодчества — перевезли в Новосибирский Академгородок: здесь по инициативе академика Алексея Павловича Окладникова создается сибирский этнографический музей под открытым небом. Поломошенский дом займет место рядом с известной науке Зашиверской церковью, тоже деревянной и доставленной сюда с далекого севера Якутии.

Село Поломошное появилось на карте земли Кузнецкой в 1650 году. Основал его томский пеший казак Василий Иванович Поломошнов, по документам тех лет — Васыка Иванов Поломошной, он же и построил дом или, может быть, кто-то из его сыновей или внуков. Во всяком случае, мы склонны

отнести этот дом к XVII — началу XVIII вв.

В Сибири, точнее сказать — в Томске, Василий Иванович появился, вероятно, в десятилетиях XVII столетия. Возможно, что он, как и конный казак Иванов, пришел с первым отрядом служилых людей, которые ступили на берега Среднего Притомья после того, как еуштинский князь Тоян бил челом русскому царю и просил принять своих многочисленных подданных под его высокую руку, как любили выражаться в те времена.

Впервые Василий Иванович упомянут в челобитной 1616—1617 гг. из Чатского городка на Оби на имя царя Михаила Федоровича. Челобитная передает некоторые подробности боевой жизни и быта казаков. Они рассказывают, что живут в городке уже 15 недель «на береженье». К городку приступали «черные колмаки» и «накрепко» бились и стояли у стен его три недели. И хотя калмыки наступали за щитами и большой массой — тысяча человек, казаки и оборонявшиеся острожек вместе с ними его жители татары отстояли себя и городок «отсидели». «И нас, государь, — пишут казаки, — переранили, и татар, государь, и многих мурз переранили и побили». В заключение казаки просили, чтобы царь пожаловал их за службу и «за кровь» жалованьем.

КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ

Это сказано не по пословице, которая утверждает, что красна изба углами, а пирогами. Но я стою на своем. Осмотрите внимательно десяток, другой, третий старых деревенских домов и вы убедитесь, что каждый из них не только давал приют семье, но и перенес из одного века в другой народные вкусы и мастерство сельских зодчих-плотников, резчиков и столяров, о которых мы, к сожалению, ничего не знаем. По наследству, денежную стоимость которого определяли топор, пила и рубанок, передавались навыки и любовь к деревянному зодчеству. Среди юргинских плотников и резчиков по дереву в селах помнят такие имена, как Баженовы

и Ремезовы. Эти фамилии напоминают нам о выдающемся русском архитекторе и знаменитом тобольском картографе и художнике.

Нет, я не за то, чтобы утвердить и на будущее русскую деревянную избу. Я — за кирпич и камень. Но воздадим ей, нашей избе, должное. Вспомним ее добрым словом. Впрочем, не надо забывать и о том, что едва ли не половина русских людей все еще живет в деревянных домах.

Что, собственно, особенного в этой старой избе?

Присмотримся к дому Поломошновых. Внутренность его, не говоря уже о впечатляющем внешнем виде, осталась в том первоначальном облике, который придали ей талантливые руки триста лет назад. Поломошенская изба переносит вас в жизнь и быт сибирского крестьянина XVII века. Единственная переделка, к счастью, поправимая, — побелка стен и покраска пола. Но даже это не мешает почувствовать, едва вы переступаете порог дома, далекое былое наших предков. Так и видится хозяйка в своей кути, хозяин в своей части — справа от двери, где он занимается починками и сушит сети на специальном шесте, устроенном поперек тыльного потолочья. А в праздник — гости за длинным застольем, и праздничный стол освещен парными красными окнами. Невольно приходят на память слова:

Здесь русский дух,
Здесь Русью пахнет!

Дома, подобные поломошенскому или колбихинскому, могли появиться только в нашем крае, где есть дерево — не привозное, не купленное, оно рядом — за пригонами. Все же и в этой лесистой местности, богатой крепкой сосной, стремились рубить сруб и отделывать избу лиственницей. Чтобы самому, сынам и внукам долго жить на облюбованном берегу, у лесной опушки, где и река близко, и пашни рядом, и до сенокоса, что раскинулся на пойменном лугу, рукой подать.

Мастера по дереву — часто сами хозяева, они «принесли в голову» то, что видели на родине — в вологодчине и Новгороде, на Волге или где-нибудь под Устьюгом Великим. Примечательно, что в отделке наличников — набойная клеточка — угадываются западные, смоленские традиции, а в яркой набойке поломошенского дома — орнамент, характерный для отделки по краям русских полотенец — клеточки с треугольниками. Простенькие вроде бы наличники, но в них своя тонкость, свое изящество. Наличники парных окошек сделаны на одной доске, хрупкая полоска соединяет их. Казалось бы, почему не врозь, каждый наличник в отдельности? Да нет, тут искусство, тут можно блеснуть, и тут же любовь к будущему дому вложена. Не на один день строено, и пусть это каждый видит.

Уже в первых домах ранних русских поселений Сибири закладывался сибирский тип дома и крестьянского двора. Высокий вологодско-архангельский дом с подклетами — не по Сибири. И сруб здесь сразу поставили на землю, а вместо подклета углубили подполье, где близко, под рукой и в прохладе, хранятся молоко, масло и небольшой запас овощей. В подполье поломошенского дома ведет дверь, устроенная за печью. Это запечье в старину называли шолныш. Запечье удобно тем, что над ним, на уровне верха печи и как ее продолжение, сделана лежанка — как раз двое улягутся. А по стенам шолныша, слева и справа от лесенки, ведущей в подпол, два ряда полок — опять место выгадано.

Однако главная особенность дома сибиряка в другом: большой двор, обнесенный плотным забором из колотого надрова, а часто и цельного кругляка, за ним — открытый пригон для лошадей. В состоятельных домах эти строения дополняли завозни под навесами, амбары, отделенная от улицы тесаным забором ограда с непременно резными воротами.

Поломошенский крытый двор и пригон выходили к яру. Уйму навоза из двора и пригона гнали с помощью лошади, тянув-

шей деревянное приспособление с поставленной на ребро доской, и валили в этот яр. Скота водили помногу, особенно лошадей. Были, конечно, и однолошадные. И Поломошны начинали с одного коня. А когда лошадей табун, то и уход за ними свой: лоншаков и жеребцов пригоняли из лесу, (где они паслись с весны), едва ли не перед самым рождеством. На масленице их обьезживали. Корма на лошадей уходило много, что же, свое, пусть едят, крепче будут. Позже, с ростом сел, пригоны стали выносить за околицу. Именно с этих пригонов наши мичуринцы до сих пор возят перегной. В поломошенском пригоне перегной метра на два, а в яру не меряно. Триста лет валили.

Тип русского дома, русской крестьянской избы складывался постепенно. Вначале это была крыша над землянкой, поверх кровли из колотых бревен, а еще раньше — жердей, — дернина. Полевые землянки на пашнях недавнего прошлого — опыт тысячелетий. Затем над землей поднялся сруб, а в нем появилось волоковое оконце. Сруб рос и ширился и стал классической избой в одну клеть с очельем в несколько окон и массивной печью. К избе пристроили сенцы, в них хранили всякую хозяйственную мелочь, сенцами «загоняли тепло» в дом, точнее — не выпускали его из избы. Сенцы переросли во вторую избу — родился пятистенник, потом пришел трехсвязный дом, две избы которого связывали те же сенцы, иногда теплые. Много позже возникли крестовые дома и боярские многокомнатные, и о двух этажах хоромины — и вторые, и третьи этажи выросли из светелок. Уже в поздние времена, наряду с богатой внутренней отделкой хоромин, начинается расцветать внешняя отделка — резьба.

В течение столетий русские плотники стихийно выработали чувство золотого сечения, научились на глаз соразмерять отдельные части дома к их целому. Каждый стал сам себе архитектор. Среди мастеров-плотников рождались, как и во всяком другом деле, великие умельцы. От плотников учились зодчеству каменщики, и у них свой

длинный путь к высокому искусству. Так от архаики к Акрополю Афин шли классики древней Греции, от кавказских саклей к замку Тамары — мастера Кавказа, от церквей на Нерли к шедеврам Баженова, Растрелли и Казакова — путь русских зодчих.

Поломошенская изба — это также опыт поколений. Недаром поломошенцы гордились «старушкой», берегли ее: в ней действительно есть что-то такое, что невольно останавливает взгляд.

Во-первых, это сам сруб, в котором мастер обеспечил классическую соизмеренность как в отношении сторон, так и по высоте.

Русская изба, отмечают исследователи, имеет, как правило, размер 6×6 или 7×7 аршин, или соответственно 18,2 и 24,7 кв. м, а по высоте 3—3,5 аршина, или 2,1—2,4 м. Дом Поломошновых, как и дом Суловых, среднего размера — 22,5 кв. м.

Во-вторых, крыша. Она проста: рубленые фронтоны, служащие продолжением сруба, на них положены 5 бревен-стропил: два нижних (по одному с той и другой стороны) толщиной 25 см, два средних толщиной 20 см и одно верхнее. На этих бревнах-стропилах настлана кровля, которую на вершине пригнетает и держит охлупень.

Кровля изготовлена из тонких, расколотых пополам бревен и положенных в два ряда. Нижние тесины имеют посередине неглубокий желоб и уложены этим желобом вверх. Тесины второго слоя желобов не имеют и уложены краями как раз над желобами нижнего слоя, по которым и скатывается вода.

Венец крыши — это, конечно, охлупень, по старому — шелом. Он сделан из тяжелого листовенного дерева, нижняя его часть (ширина 35 см), под которую положены верхние концы кровли, выдолблена, верх обработан и имеет треугольный вид, на лицевом конце дома — конек, напоминающий нос ладьи.

Охлупень, выдвинутые далеко вперед над срубом (на полтора метра) стропила-причелны украшают крышу, придают дому легкость, скрашивают толщину бревен сруба.

Дом как бы парит в воздухе, что-то от птичьего полета есть в безыскусственном, но впечатляющем фронтоне крыши.

В ТЕСНОТЕ, НО НЕ В ОБИДЕ

Войдемте в избу. Размер ее, как я уже сказал, — 22,5 кв. м. — значителен. Не надо, однако, забывать, что тут могла жить большая семья и хранились первой необходимости вещи — одежда, утварь. Но именно поэтому, в чем мы сейчас убедимся, здесь все построено разумно, продуманно. С полным правом можно сказать, что в избе нет ни одной лишней детали, но есть и свои украшения, и от этого изба не выглядит ни тесной, ни скучной. Подобная гармония — результат житейского опыта и глубоко осмысленного труда мастера-строителя.

Избу можно разделить на четыре части:

1. ПЕЧЬ с упомянутым выше шолнышем-запечьем.

2. КУТЬ — площадь от печного чела до стены, по ширине печи. Куть отделяется от переднего угла условной линией, которую образует посудная полка, укрепленная одним концом на столбе у свободного угла печи, другим — в специальном вырубке передней стены.

3. ПОДПОРОЖЬЕ — угол хозяина — от входной двери до конца печи, над ним устроены полати.

4. ПЕРЕДНИЙ, или красный угол, ему, как положено, отведена самая большая площадь.

По этой планировке поломошенский дом относится к типичному среднерусскому жилищу.

Названия частей избы не совсем условны, в старину строго держались неписанных правил: куть — территория хозяйки, и никто под рукой ее не должен находиться; подпорожье — место хозяина для всякого рода работ мужского характера: здесь чинили сбрую, обувь, занимались мелкими поделками. Если к хозяину заходил накоротке со-

сёд, то садился на лавке справа от входа. Женщина могла пройти к хозяйке в куть или присесть на лавке у печи. Передний угол служил местом сбора всей семьи, тут стоял стол, за которым ели, принимали гостей, справляли семейные праздники.

Как топилась печь — по-черному или с мента постройки имела трубу? В литературе описываются избы, топившиеся по-черному еще в середине прошлого века. Сибирские избышки на пашнях лет 50 назад также обогревались каменками, но я не помню, чтобы старожилы-сибиряки вспоминали курные избы. Думается, печи всегда строились здесь с трубой, и я помню деревянные наверхия труб. Легко ли длинной сибирской зимой с ее морозами сидеть в дыму и копоти? В поломошенском доме мы не обнаружили следов курной топки, труба ее сложена из кирпича, видимо, давно, так как кирпич спекся. И хотя кладка сделана в один кирпич, поставленный, как и во всех избах, на ребро, на нем ни малейшего скола или дефекта.

Не имела, кажется, поломошенская изба и волоковых окон, сразу ставились окна того размера, какой мы видим сейчас: 56×86 см. Только в углу над полатями сохранилось подобие волоконца, но это просто отдушина, несколько, правда, большего размера, чем обычные.

Освещение избы построено разумно. На всех старых домах — поломошенском, тальском, колбихинском — окна на фасаде поставлены вроде бы непомерно далеко друг от друга. Попадая в избу, вы понимаете, почему сделано так. Между окнами помещалась кровать, но не вдоль стены, как ставят сейчас, а поперек. Кровать была неширокой и короткой (экономия места?) и продолжением ее в ногах служила часть широкой лавки — последняя огибала всю избу. Такое расположение кровати несколько необычно, но удобно: далеко от входной двери, нарядная постель ее служила дополнительным украшением переднего угла, у хозяйки тут же под рукой квашня, зыбка ребенка и за занавеской раздеться можно.

А где же спала семья? Старики на печи,

малые ребята за ними на шолныше, подростки на полатях, и каждому тепло.

Полати служили не только для сна, они были и своеобразным вторым этажом дома: тут можно было сидеть и работать — прядь, вязать. Куда как лучше в мороз!

Низко опущенные полати ставят перед нами, неизвестными с жизнью минувших веков, загадку: от пола они всего на полтора метра. В доме деда, вспоминаю, полати были выше от пола, видно, время внесло поправку, хотя и наш дом стоял сотни полторы лет. Хорошо, если часть полатных досок снималась на день, а если нет, то, входя в избу, старшие должны были нагибаться. Посудная полка опущена тоже низко — на те же полтора метра от пола. А сколько раз в день приходилось хозяйке ходить из кухни и обратно. Неужели и она всякий раз нагибалась?! Высота проемов нынешних дверей как-никак около двух метров. Высота от пола до потолка в доме Поломошновых 2 метра 30 сантиметров, можно бы, кажется, сделать дверь и ход в кухню-куть повыше. Нет, полтора метра! Может быть, наши дальние предки были ниже ростом?

Бросим последний взгляд в сторону красного угла. Недаром называли его красным, он и в самом деле ласкает взгляд. Потолочины дома — 12 штук — положены не встык, а накладом, что красит потолок. Половые доски — те же 12 штук, шириной до 47 см (сравним: ширина современной половой рейки 10 см) — подогнаны так, что за 300 лет ни единой щелки не образовалось. Время, конечно, не пощадило их: они до того износились от мытья и протирок с дрсевой, что суковатые места выступают на добрых полвершка.

Стены отесаны гладко, углы выбраны чисто — скосом. Бронзовые иконки-складни на божнице-полочке, строгановского письма иконы (рисунок в корытцах-выемках) Богородицы и Николая-угодника, лики которых почернели, серебряная лампадка на медной цепочке вписываются в строгость стен.

Доска, закрывающая полку хозяйки, — в резном орнаменте. Края полатного бруса

мягко округлены, в углах фигурно скошены. Потолочная матка имеет трехгранные со- струги по краям.

Посудная доска, полатный брус, тыловая, на задней стене, жердь гладко отполиро- ваны, может быть, временем, и имеют вид красного дерева, так как сделаны из лист- венницы.

Все здесь сделано со вкусом, надолго. Тут работал не скарыга-левак, а трудился че- ловек, знающий свое дело и влюбленный в него.

ДОМ ИЛЬНЫХ В КОЛБИХЕ

В этом доме прожило несколько поколе- ний. Ильных Михаил Савельевич (умер в 1950 году в возрасте 109 лет), его отец Са- велий Семенович и все «их предки», как вы- разилась дочь Михаила Савельевича — Ха- ритинья Михайловна, 82 лет, выехавшая из дома недавно, так как он, по ее словам, «пе- рестал греть». Да и где ему греть, когда нижние два венца рассыпались в прах.

Не буду описывать этот дом в Подробно- стях, так как в деталях он очень схож с по- ломошенским. Разница лишь в том, что он двухсвязный, но эти две связи-клетки сильно отличаются от современных. И разницу эту определила печь: чело ее в кухне, тело — в сенцах, а тыл — во второй комнате-горенке. И размеры его не те, что в нынешних домах.

Вот они. Длина дома — 8 м 30 см. Кух- ня — 17 кв. м. Горенка — 14, ширина избы внутри — 4 м. Высота входной с улицы две- ри — 1 м 15 см, еще ниже, чем в доме По- ломошных. Высота окна — 73 см. Ширина — 87 см.

В кухне по всем стенам идут широкие лавки. Окон в кухне два, в горенке одно, и на этом окошке поставлена крест-накрест кованая железная решетка.

Все здесь обветшало. На всем печать вре- мени. Кровля замшела, дотронуся — сыплет- ся. Стены в бесчисленных глубоких морщи- нах-щеях.

Но шелома-охлупни, причелины молодят дом. Они похожи на рисунки с ковров-само- летов, и кажется, сами вот-вот полетят.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

В XVIII—XIX вв. народное зодчество в сибирской деревне продолжало развиваться, обогащаясь новыми идеями и новыми образ- цами.

От эпохи Великого Сибирского тракта и Колывано-Воскресенского горного округа, к которому была приписана большая часть сельского населения Кузнецкого уезда, в деревнях Юргинского района сохранились все типы домов: в одну клеть, пятистенные, трехсвязные, крестовые. Родился дом в одну клеть с тремя окнами на фасаде. Измени- лась внутренняя планировка: вначале исчезло запечье, печь подвинулась к стене. Дольше сохранялись полати, но постепенно, с рас- ширением помещений и ростом культуры, начали упразднять и их. На смену двускат- ной крыше повсеместно пришла четырех- скатная. Расширение помещений шло иногда вразрез с пропорциями и нарушало красные линии. Бывало это чаще с домами, где семья состоят нередко из полутора-двух десятков членов. Такие объемные посадиные дома на тракте не редкость.

Наиболее старые дома можно видеть в Мальцеве, Зеледееве, Варюхине, Алаеве — это на тракте, в Искитиме, Верх-Тайменке, Колбихе, что на берегу Томи.

В Варюхине, где была земская почтовая станция, стоит целая улочка таких домов, гедущая к бывшей переправе. По этой улоч- ке 14 мая 1890 года проехал А. П. Чехов, переправляясь на правый берег Томи. В од- ном из домов Антон Павлович отобедал, и обед так понравился ему, что он отметил его в своем дневнике. Эту улочку видели Радищев и Чернышевский, декабристы и их жены, воспетые Некрасовым. Мимо этих по- черневших от времени домов прошли сотни и тысячи ссыльных, направленных в глубь

Сибири — на далекий Акатуй и в Нерчинск. Здесь бывали писатели Короленко, Станюкович, Гарин-Михайловский и многие другие деятели русской культуры. Н. Г. Гарин-Михайловский останавливался в селах Зелеевее, деревнях Томилово, Асаново, Пятково, ночевал в Талой. Одна глава его очерка «Карандашом с натуры. По Западной Сибири» названа: «Из Томска в Талы». Писатель нарисовал несколько ярких типов тальских мужиков времен строительства Транссиба.

В Проскокове до сих пор векует дом ямщика, который, надо полагать, носил фамилию Проскоков.

Дом этот строен не заново, а перенесен на тракт и речку Лебяжку с речки Кандереп, где он стоял до этого, в нем много перестроено, поэтому интересен он лишь тем, что является одним из ямщицких домов прошлого. Он трехсвязный, в левой избе жила семья, правая была предназначена для приема заезжих: пассажиры могли здесь отдохнуть, попить чаю и даже переночевать. Сруб сделан из бревен порядочной толщины — от 30 до 40 см, в нем девять венцов, длина двенадцать с половиной метров, на фасаде 5 окон.

Другой столь же старый дом, но сохранившийся в нетронутом виде, находится в селе Поломошное — он самый крайний на спуске к реке. Дом крестовый, жилых помещений в нем два, две другие клетки — это сени и кладовая. Крыша тесовая, четырехскатная, замшелая, ветхая.

Достопримечательность этого дома — окна, ставни и наличники. Двухстворные ставни состоят из двух равных филенок с приподнятостью в центре, заключенных в рамы. Фигурное навершие наличников очень нарядно: глубокие выемки в четыре ступеньки, изящные изгибы и овалы, в центре — грушевидный вензель, а на шпрингельной доске — оригинальный накладной рисунок. Все это сделано чисто, с большим вкусом. Наличники сохранились хорошо потому, что их спасал от дождя глубокий карниз. Мне кажется, что это самые ранние наличники в при-

томских деревнях, выполненные в стиле русского барокко.

В районе много домов, построенных в конце прошлого и начале нашего века, в том числе школьное здание в Алаеве, хорошо отделанное резьбой, и здание церкви в Зелеевее. Углы школы и церкви рубились не обычным, широко принятым способом — в чашу, а в лапу, способом, который требует немалого опыта от плотника.

Церковное здание привлекает своей архитектурой. Бревна для его сруба отбирались с особой тщательностью — ровные, по возможности без сучьев, они гладко оструганы, перед тем как пустить в дело, их хорошо выдержали, поэтому и сейчас, через много лет, на них нет трещин. Стены внутри церкви оставлены бревенчатыми. Дерево красиво само по себе. Я помню, мальчишкой подолгу рассматривал стены и потолок маленького мезонина в доме деда, который не был оштукатурен; сколько необыкновенных рисунков представлялось мне, тогда как побеленные стены внизу были совершенно не интересны.

Здание зелеевской церкви после того, как ее закрыли в тридцатых годах, использовалось на разные цели: в нем хранили зерно, держали племенного жеребца, а последнее время тут был склад горюче-смазочных и строительных материалов и сельхозудобрений. В помещении сохранилась неширокая овальная доска, укрепленная на столбах, разделяющих зал церкви пополам; на этой доске искусно вырезан рисунок в виде цветков и листиков, резьбой украшены и столбы. Ни жеребец с его копытами, ни бочки с мазутом, ни мешки с цементом и удобрениями не коснулись этого изящного украшения.

Привлек наше внимание бывший кулацкий дом в Асанове, в котором сейчас размещается школа. Он в два этажа и имел, вероятно, 6—7 комнат, расширенных сейчас для классов. Выбор места для дома и его расположение характеризуют вкусы хозяина и плотников.

Дом поставлен на высоком берегу Томи.

Одной стороной, где было парадное крыльцо, он смотрит через реку на Иткаринский кедровый бор, а фасадная, уличная, сторона обращена к широкому, сияющему в лучах солнца, разливу реки; тут же перед окнами протекает небольшой ручей. От всего этого дом выглядит праздничным. Эту парадность подчеркивает богатая резьба карниза, оконных наличников и углов дома. Детали резьбы выполнены в несколько сдержанной манере, резчик избежал излишней пышности, ведь кругом и без того много красоты.

В 1912 году построил в Поломошном большой дом местный крестьянин В. Е. Соловьев. Хозяин не гнался за красотой места, а поселился на главной улице, плотно застроенной. Поломошное, в прошлом крупное торговое село, строилось с размахом. Да и сейчас строится, расширяется — здесь центр одного из яшкинских совхозов.

Перед революцией, в канун первой мировой войны, сибирская деревня, особенно ее зажиточная верхушка, стали проявлять большой интерес к сельскохозяйственным машинам. В Сибири появились представители иностранных фирм. Одним из агентов по продаже машин стал В. Е. Соловьев. Он отличался умом, имел навыки кузнечного дела. Агентство приносило известный доход, и вскоре поломошненцы ахали, глядя на дом, поставленный их земляком. Положение агента обязывало, приходилось принимать иностранных гостей. После революции В. Е. Соловьев занялся изобретательством и получил несколько патентов на ветряные двигатели. В Юргинском городском краеведческом музее есть экспонаты, подаренные лет пять назад самим изобретателем, недавно умершим.

Соловьевский дом выглядит по-городскому. Парадный вход, с широкой веранды открывается вид на большой сад. С веранды мы попадаем в прихожую, отсюда ведут три двери: в кухню, гостиную и зал, за стеной зала — спальня, вход в нее из гостиной, которая скорее была простой семейной комнатой, так как здесь и по сию пору стоит иконостас. Зало просторное: три больших

окна на улицу и два в ограду; слева от входа — стол на 6—8 персон, а в правой стороне, против окна, где положено находиться роялю, плотно укреплен на блестящем крашеном полу большой... токарно-сверлильный станок. Хозяин дома был человек дела, с самобытным характером, во всем он видел прежде всего пользу занятиям, которым посвящал себя.

Внешнее убранство дома — резьба по карнизу и наличникам. Резьба выдержана в определенном стиле, но смотрится она как-то холодновато, к радостному душевному настроению не располагает. И весь дом, несмотря на четкость его линий и чистоту отделки, строг, сумрачен.

Последним памятником дореволюционного зодчества наших мастеров пилы и рубанка является дом в Копылове, построенный в 1916 году неким казначеем. Этот казначей развозил по деревням пенсии солдатам, и, по-видимому, солидный куш денег попал в карман дельца. Мошенник кончил плохо: его убили во время очередного вояжа, может быть, из-за мести. Но он успел построить солидный дом.

Дом крестовый, все его четыре комнаты жилые, есть тут и зал, и спальня. Крыт железом. А главное: изукрашен он прекрасной резьбой. Стоит дом на опушке соснового бора, смотрит на березово-пшеничные дали и синее небо над Томью. Трудно сказать, когда он выглядел лучше: новым или позже, постарев. Кажется, что именно сейчас, через полсотни лет, резной рисунок дерева обрел настоящую красоту. Жаль, что нынешние хозяева как-то хладнокровно относятся к своему очагу и плохо следят за его сохранностью.

РЕЗНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Основные районы русского деревянного узорочья лежат поблизости от Москвы и на Волге, то есть там преимущественно, где есть леса. Сибирские резчики с этими районами не соперничали, они были скромнее, менее щедрыми, однако во вкусах и мастер-



Изящной резьбой отделан двухэтажный дом на станции Тута́льская

стве могли поспорить с нижегородцами, ярославцами и москвичами.

Сибирские мастера главное предпочтение отдавали самому дереву. Во всех наших резных украшениях есть основной мотив, как мелодия в песне, и он, этот мотив, бережно охранялся от излишеств. Возьмем ли школу в Алаеве, асановский школьный дом, большой дом на станции Юрга, где помещается районная больница, и даже пышно отделанный двухэтажный дом на станции Тута́льская, — все они, как и многие другие, имеют оригинальные рисунки резьбы. Образцом высокого мастерства является небольшой, шитый тесом, крестовый дом в Колби́хе. Он построен в 1925 году и служит как бы мостиком от старого в наш новый мир. Мастер чувствовал время, резьба его легка, изящна, полна гармонии — здесь все к месту и ласкает взгляд.

Украшали в основном карнизы и наличники. В домах, обшитых тесом, резные детали помещали в простенках между окон и на углах. Резьба карнизов называлась подзорами, они развешивались в один, два, а то и в три ряда; детали в простенках и на углах — полотенцами. Названия пошли оттого, что рисунки заимствовали с подзоров кроватей и полотенец. В поздние времена резчики имели шаблоны, рисунки для которых изготовляли городские архитекторы или местные художники-самоучки.

В деревнях на Сибирском тракте было распространено украшение резьбой ворот, калиток и крылечек. Последних сохранилось мало, можно отметить лишь дом районной поликлиники на станции, где ворота оформлены под стиль всего здания, и дом П. Е. Чернышова в Мальцеве.

Резные подзоры и наличники красуются



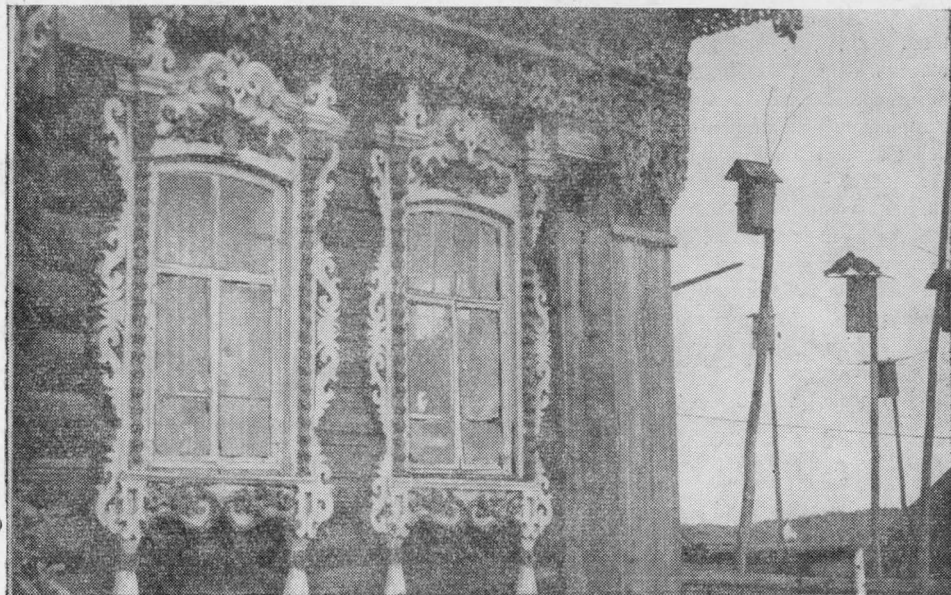
Ворота одного из бывших ямщицких домов в дер. Мальцево, расположенной на старом Сибирском тракте

на многих старых и новых домах. Некоторые из мастеров добивались выразительности рисунка скромными средствами. В Мальцево во второй половине прошлого столетия построен дом с двумя рядами подзоров на карнизе и наличниках, которые заметно выделяются своеобразием рисунка: на верхней шпрингельной доске — стилизованные подобию львов, на вершине — два дракона с открытой пастью. Больше никаких деталей нет, но и этого достаточно, чтобы привлечь внимание.

Глядя на эти наличники, выполненные в излюбленной народными художниками манере изображения зверей и птиц, я невольно вспомнил выдающийся эпизод из далекого прошлого села. В XVII—XVIII вв. оно было населено староверами. В 1756 году среди них началось сильное движение: раскольники жаловались на религиозные при-

теснения, отказались выполнять урочные работы для нужд царских рудников и заводов Колывано-Воскресенского горного округа, так как построенные ими дощаники приходилось самим же сплавлять с зерном в самое дорогое летнее время. Для усмирения кержаков была вызвана из Томска воинская команда. Дело закончилось тяжелой трагедией: 172 раскольника закрылись в избах, подожглись и сгорели.

С подлинно художественным вкусом вырезаны украшения старого дома в Новороманове. На его карнизе также два подзора, наличники с треугольным навершием имеют на боковых досках узкие в клеточку плашки, на нижней доске вырезаны как бы три окошечка, и к ней подвешены копьевидные подвески. Истинную красоту создавала верхняя доска: на ней наложен вазончик с двумя нежными ветками ря-



Богатой резьбой украсил карниз и наличники своего дома лесник А. Б. Зоркальцев в дер. Асаново Юргинского района

бины, сам же шпрингель покрашен в цвет рябиновых ягод. Это, конечно, находка мастера. Краской послужила, вероятно, охра того же рябинового цвета, выступающая полосами сквозь грунт высоких берегов Томи.

Такую же форму имеют наличники в доме А. С. Кунгурова в Митрофанове, с той разницей, что навершие тут арочное, овальное, а на верхней доске — оригинальный рисунок, напоминающий кружево. В этом же селе очень нарядные наличники имел соседний с кунгуровским дом. К сожалению, из четырех наличников остался один, и особенность его в том, что навершие имеет вид козырька и поставлено в наклон. И сколько мы ни ездили, двух одинаковых наличников не встречали, если не считать нескольких новых домов с двумя голубками на весьма простеньких оконных украшениях.

Кстати, о современной резьбе. Начиная с

30-х и до конца 40-х годов украшения на домах применялись крайне редко. Да и вообще в эти годы мало строили, чаще перестраивали, приспособлявая иной раз к новым постройкам старые наличники, не считаясь с тем, что изменились размеры дома. Сейчас строятся широко, и традиции резьбы воскрешаются. Идут поиски резчиков, в роли которых обычно выступают сами хозяева новостроек, украшая их на свой вкус. Кое-где родились интересные новшества.

Невольно привлекли наше внимание здания правлений колхозов в Пятково и Варюхино. Пятковский дом стоит на широкой площадке, в нем много света, на наличниках использован кружевной мотив митрофановского дома. Наличники варюхинского дома сделаны в виде высокого женского кокошника, и это тоже находка.

В новом, на наш взгляд, стиле выполнена

резьба на двух домах по ул. Садовой в г. Юрге. На первом вырезаны только наличники окон, два из которых расположены обычно с простенками, а два другие — рядом, через косяк. На шпрингельных досках наличников использован орнамент, напоминающий чем-то тюркские мотивы; на боковых досках — накладные прерывчатые плашки, заключенные в рамы; арочное навершие с фигурными ушками по бокам увенчано высокими елочками.

Резьба на втором доме — неширокий карнизный подзор с геометрической пропиловкой и небольшого размера наличники. Детали рисунков здесь более нежные, чем на первом доме, где они несколько тяжеловаты. Рисунки просты, но привлекательны именно этой сдержанностью. На верхней доске мы видим вазончик с тремя побегами веток, выемочное арочное навершие имеет завитки, геометрический, пропиленный рисунок помещен на боковых досках, а на нижней доске растениевидный рисунок, обрамленный по краям планками с косой выбой-

кой. Наличники хорошо смотрятся, ласкают взгляд.

Нельзя пройти мимо резных украшений дома лесника А. Б. Зоркальцева (Асаново). На карнизе — три полосы великолепных подзоров. Узорная резьба спускается по углам. Под стать всему наличники: навершие их выпилено и выбрано ножом в старом стиле — две сходящиеся полуарки, скрепленные вензелем, на углах поставлены фигурки, напоминающие пряничных куколок; тут и розан с цветами, и подвески, и узорный рисунок, прикрепленный к боковым доскам. Александр Борисович — настоящий поэт в душе. Возле дома, вдоль городьбы огорода он устроил целую деревню самых разнообразных скворечников, а под всеми углами карниза — ящички-гнезда для ласточек. Не знаю, как это с точки зрения биологического равновесия в природе, но что веет тут умиротворением и радостью, — бесспорно.

Нет, не перевелись на Руси украшатели жизни!

г. ЮРГА

Фото к статье — К. АРЕДАКОВА.

ДОЖДЕЙ ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО

О новом сборнике стихов Игоря Киселева

«Четыре дождя»

Сначала одно личное воспоминание...

Вы знаете: ежегодно летом проводятся пушкинские дни. Сотни едут в святые, озадаченные гением места — Михайловское, Тригорское. Десятки поэтов пишут по этому поводу стихи. Редкие счастливицы читают их с дощатой эстрады, сколоченной над Соротью.

Телекамера вводит пушкинский праздник в каждый дом. А для меня Игорь Киселев «устроил» пушкинский день задолго до того, как такие поэтические праздники стали официальными. В первой его книжке «Переплет» — целый цикл поэтических воспоминаний о поэтической стране Пушкина. Дело в том, что в памяти детства у меня заветный уголок — Псков, пушкинские места. В Пскове привелось жить два года. Однажды нас, шестиклассников, посадили в автобусы. Сказали: едем в Михайловское. Это и сегодня трудно выразить! Обычными, «туристскими» словами говорить нельзя. Потом читал у Киселева про речку Великую, «где базарная давка и крик», об Анне Керн — «красавице с надломом», про «святки» и «на возке убитый Пушкин свой последний держит путь»...

Может быть, потому (но точно с тех пор) внимательно слежу за творчеством Игоря Киселева. Порадовался за «Ярославну», вторую его книжку. Читал, хотя жил в другом городе, на редкость дружную одобрительную прессу.

И вот вышедший в Кемеровском книжном издательстве новый сборник поэта — «Четыре дождя».

Думалось: отыщу ли в новых стихах созвучность своему настроению, как тогда, в псковском цикле? Но теперь мне не только то интересно, совпадут ли его впечатления с моей мальчишеской взволнованностью. Даже и не то любопытно, подтвердит ли поэт многоцветье мира, многоголосье жизненного гула. Я знаю, Игорь Киселев зарекомендовал себя мягким душевным лириком, однако не во всех стихах хватало ему активной позиции.

С годами мы пристальней всматриваемся в пространство перед собой, а главное — внутрь себя. Все чаще ловишь себя на одной мысли. Э, брат, никак доволен всем становишься? Все-то у тебя в порядке!

Все ли у тебя в порядке?

И вдруг видишь: поэт задал уже эти вопросы.

Третья книжка стихов названа у Киселева по имени одного из прежних его произведений. Оно всегда мне казалось удачным и само по себе. Удачно и как сквозная идея теперешнего поэтического сборника.

Блеснут облака, на закат уходя.

Ударятся в землю четыре дождя.

Читатель не хуже моего знает: напрасно пересказывать стихи. Тем более волен он не согласиться с тем, как я их понимаю. Четыре дождя — своеобразные вехи в судьбе человека. Игривая удача, преподнесенная тебе жизнью. «Один из дождей, не без шика, повиснув над сонной водой, качнется упругой

кувшинкой и звездам подставит ладонь». Полоса удач: «Второму дождю не лениться пред зеленью падая ниц». Наконец, законная победа — плод твоей трудной работы, борьбы. Об этом у поэта сказано сочно, вкусно, образно: «Он яблоком гулким нальется и ночью сорвется в траву».

По старому, каждому мальчишке известному поверью, от дождя — растут. Но со временем взрослея, уже воспринимая как обязательность и факт, и процесс роста, человек нет-нет да призадумается.

А как же с четвертым,
Четвертым,
Что станет с последним дождем?

На этот вопрос (он задан жизнью) каждый должен ответить сам, без подсказки. У Киселева, например, отвечено (для себя ли, для других ли тоже?) так: «он в сумерках на землю рухнет, когда ни души на дворе, кончая веселые угли в моем запоздалом костре».

Любое душевное состояние, запечатленное в стихах поэта, — дело личное. Весь вопрос в том, насколько это может оказаться поэзией.

Совершенно очевидно, большинство материала последнего сборника показывает новую тенденцию. Ценнее всего в сегодняшней лирике И. Киселева чувство острого беспокойства. Чувство, как известно, от века присущее поэтическому сердцу, поэтическому уму. Отсюда — обострение внимания к каждой психологической детали бытия.

Стараюсь разобраться в новых качествах поэзии И. Киселева. Пусть поможет сравнение. Два стихотворения. Первое найдете, пролистав «Перецвет», второе из рецензируемой книжки. Ситуация тут одинаковая. Лирический герой в лесу, любимом уголке влюбленного в природу автора. Образ вдохновляющей природы — компонент творчества Киселева. Тем легче увидеть, как использовался этот образ раньше, как использует его поэт сейчас.

Раньше эмоции выражались восторженно, звонко, страстно. Помните:

Как дышится в лесу!
Как горлом льдинки льются!

Типичная примета поэтики начинающего: рядом образность и декларация. Философия чиста, искренна, но не глубже наивного признания «как хочется в лесу не уходить из леса!». Философия восклицательных знаков.

И вот — «Я немало бродил по земле...» из «Четырех дождей». Вновь осень. Что увидел поэт — утренний гость в насквозь просвеченном лесу? Увидел, как щедро дарит лес. Бурундуку, барсуку, мало ли столуется у леса всякого живья. Почувствовать, догадаться: «лес был счастлив, без меры дая». Это дано всякому чуткому сердцу. Поэту дано больше. Понять, как стать счастливым — дая.

Тут-то и начинаются вопросы к себе самому, признак равнодушия мыслящего, ищущего существа.

Добр ли я?
Бескорыстен ли я?
И что сам я другим принесу,
Приближаясь к осенней поре?

Нет былых восклицаний, они уступают место вопросам. Такого рода теперь этап у лирического героя, пережившего и первый, и второй, и третий дожди. Беспокойство лирического героя в пору четвертого дождя — вопросы, вопросы, вопросы. На них стремится ответить поэт большинством свежих стихов сборника.

В них корни сегодняшней лирики Игоря Киселева, повзрослевшей, гражданственно выросшей. Огненные беспокойство за мир, человека, природу — удел поэта. Вот это свойство души лирического героя и автора впрямь фаталистично. В том смысле, что уже не зависит от его, автора, сиюминутных настроений, смены, обстановки, каверз быта.

Пuls «Четырех дождей» бьется в сердечном ритме, на два такта. Беспокойство и

доброта. Впрочем, они были присущи поэзии Киселева всегда. Что ж нового? Изменились их параметры. Забота о доброте становится более глубоким, действенным чувством. Диапазон беспокойства — шире. Оба чувства стали в лучшем смысле слова современными. В этом суть творческого успеха сборника «Четыре дождя».

Среди прежних стихов было немало на актуальную нынче тему: город и село, городской человек и его ощущение природы. Возьмем наугад, хотя бы эти: «Не знаю, под каким родился знаком...», «Марининск». Поэтический лад, обаяние все-таки не спасали их от описательности и этакой старомодности чувств. В новых стихах больше ощущения, примет века. Нет просто любования природой, прямолинейного (пусть художественно это было неплохо) противопоставления «асфальта и травы». Если теперь поэт изъясняется свежему ветру, травам, «деревянному городку», то для того, чтобы заявить совершенно определенно: цель его куда значительней.

Город издали — неплохо,
Золотое забытье...
Но зовет меня эпоха,
Время сложное мое.
Я вернусь к нему!..
Вот только
Постою, где камыши,
У незримого истока
песни,
родины,
души.

(«Не ругайтесь и не смейтесь...»).

Пока это, конечно, заявка о своих намерениях. Заявка интересная. Сложное сплетение чувств. Представляется: современный человек — система сообщающихся сосудов (да простится в разговоре о поэзии терминология школьной физики). В данных сообщающихся сосудах поди попробуй разбери, какой настой чувств переливается.

Всех нас властно зовет эпоха, действительно, время сложное. Поэтовы намерения

всегда чуточку впереди. Чувства нацелены острее, чем у любого смертного. Для И. Киселева важно: оказаться в главном под стать эпохе — чувствами, мыслями. Найти связь с высшим судьей, с современником. Позиция поэта и здесь — обязательность отдачи. «Ты должен, должен быть услышан». Если современник (читай: эпоха) тебя не слышит, значит твоя в том вина. Мысль об ответственности — наиболее сильная сторона сборника.

Итак, изначальную заботу теперешней своей лирики поэт определил сам. Что ж, воспользуемся его терминологией. Какие стихи новой книги будут «услышаны»? Какие — нет? Этот анализ субъективен, как и большинство оценок. Но ведь я, читатель, тоже кое-чего хочу. Хочу «услышать» автора.

И я слышу, когда поэт адресует тревожные слова планете, которая выпускает «боевые самолеты то из лева, то из права рукава». Впечатление от этой вещи хочется написать подробнее. Нельзя не обратить внимания на сказочную образность, подчеркивающую нарастание тревоги.

Однако прямое обращение «Что ты делаешь, планета?» поначалу настораживает. Невольно думаешь, вот очередной стихотворец пробует себя в «планетной образности». В отсеке памяти у тебя уже хранится хорошая фраза о парне, которого «зарыли в шар земной». Если надо, вспомнишь также десятки стихов, где образ матушки-планеты нашей эксплуатируется нещадно и привычно, словно троллейбус горожанином.

У Киселева планета не поминается всуе. Он относится к ней ответственно. Потому что речь — об ответственности. Планета — это мы с вами. Это каждый из нас обязан ответить последующим поколениям, как мы отводили грозу. С планетой связана обоснованная тревога поэта. Но будущее зависит от нас — сынов планеты. Этим рожден оптимизм автора. Разум, растущая доброта человека — «вещи, долговечней, чем эпоха, и намного крепче танковой брони».

В ряде стихотворений, развивающих на-

званную тему, поэт стремится, как он сам говорит: «возвысить душу человека до добра». Попытки, правда, не всегда удачны. Тогда — не слышу поэта. В сборнике, по соседству, на ту же тему, стихотворение «Огорчая нянечку-старушку...». Пример, когда тема не развивается, размельчена. Голос лирического героя слаб, лишен проникновенности. Вместо яркой, образной строфы автор обходится перечислительным абзацем. Слова какие-то газетные, статейные. Почитайте:

Все тревожной человеку стало
Ждать, откуда свалится беда:
Наводнение, оползни, обвалы,
Зной, землетрясение, холода.

О слабостях, просчетах книжки скажу потом отдельно. Пока хотелось бы подчеркнуть: трепетная поэтическая мысль обязательно найдет неповторимую форму словесного выражения. Киселев доказывает это стихотворением «Есть женщины, похожие на пламя...». Превосходный лирический этюд, написанный встревоженной рукой. Мне очень нравятся эти стихи, сделанные без внешнего блеска, в обычной спокойной манере Киселева.

Как можно по-новому, по-своему выразить тему — женщина — после опыта Пушкина, Блока, Смелякова, Гамзатова?! И других, и других, даже перечислять боязно... Поэтический дар Игоря Киселева не устранился «авторитетов и приоритетов». Поэт сказал так:

В них что-то есть от скорого прощанья.
Как светлый дождь, сквозят они во мгле,
В себе невозмутимо воплощая
Все лучшее, что было на земле.

Изменчивы, как небо, как погода...
И душу мне догадка обожгла,
Что в них украдкой смотрится природа,
Как в созданные ею зеркала.

А дальше в стихах нарастает истинно киселевская интонация. Сердце сигнализирует тревогу. В опасности самое живое, самое поэти-

ческое существо «на нашей слишком занятой земле»!..

Они мерцают капельками света,
Так непредусмотрительно хрупки...

...И страшно мне, что сильный ветер века
Вот-вот погасит эти огоньки.

Удача сопутствует И. Киселеву, как мы это сейчас видели, всякий раз, когда его поэтический импульс — от жизни. Таких стихов немало в сборнике. Одни родились в «дорожной дрожи» путешествия. Несколько произведений посвящено Средней Азии. Лучшее в этом цикле — «У мавзолея Тимура». Вовсе не география здесь «виновата», а то обстоятельство, что поэт верен себе. Сильней преданий и наглядного величия прошлого его потрясает зелень травы, взметнувшаяся на куполе гробницы завоевателя, как символ победившей доброты.

Успех других стихов (за ними не пришлось ездить, но это, видимо, труднее) — от требовательного взгляда на свое творчество. Их объединяет единый стержень — стремление смерить собственную биографию по мерке поэтической программы. К ним отнесу «Атаку», «Зависть», «Поедино», «Если станет когда-нибудь туго...».

А особенно «От стихов, бессонниц, от улиц...». В который уж раз поэт возвращается к образу детства. Там начинается перезвон его дождей. «Там все беды мои — на минуту: минут, канут, развеются в дым», — надеется поэт.

Оказывается, в детство люди уходят с разными намерениями. Для поэта уходить в детство не значит впасть в детство. Лирический герой его из тех, чья совесть на страже. Светит солнышком каждому детство, Из немислимой дали маня.

...Только что ж ты ударился в бегство? —
Спросит совесть моя у меня.

Помнится, прочтя эти строки первый раз, я был ошеломлен. Поразил крутой поворот мысли, — резкий, как армейская команда «Кругом марш!», построенный художественно так просто. Что произошло? Поэт «сыграл» на созвучности двух слов: детство — бегство. Проще сказать, нашел простую, ле-

жащую на поверхности, рифму. По некоему внутреннему художническому закону (парадокса? логики?) она прямоком приводит к идейному ядру стиха:

Как я мог притворяться ребенком
В мире, где не хватает солдат?!

Впрочем, разбор архитектоники стихов не входит в мои планы. Отмечу только, мастерство поэта сегодня на таком уровне, когда находки воспринимаешь как должное.

А. стало быть, к любому промаху — смысловому, изобразительному — относишься вдвойне строже. Несколько замечаний о неудачах сборника. К сожалению, в «Четырех дождях» есть стихи из тех, что вряд ли будут услышаны.

Снова, намеренно, перечитываю стихи пейзажного плана, в чем лирический поэт должен быть обязательно силен. Мне не показалось, что Киселев имеет в новой книге много приобретений. К примеру, «Солнцу надоело плыть в зените...», которым открывается сборник, выглядит беспомощным. «Ранний» Киселев пел о природе звонче, объяснялся ей в любви искуснее, тоньше, интимнее. Теперешнему Киселеву трудно простить такое вот дежурное четверостишие: «Дождь убрел в деревню на свиданье, и себя он выдал только тем, что запахло свежими цветами и за город захотелось всем». Не трогает, ну ни в какую не трогают пейзажные зарисовки «Снег», «Был вечер в драповом пальто...».

Понск свежего образа — основа поэтического творчества. Но и условие поэтического успеха. В стихотворении «Снег» есть строчки:

Идет беззвучная резня
Пушистых облаков.

Кому как, мне этот образ кажется неудачным, неверным, болезненным каким-то. У нас есть все основания корить автора за такие неудачные строчки, образы еще и потому, что в сборнике помещены также ранее публиковавшиеся отличные стихи. «Сумерки», например.

Далее. Творческой манере И. Киселева не-

свойственна патетика взамен лирики. Странно, что в книжку попала такая вещь, как «Высота». Не спасает посвящение космонавту-земляку. Стишок-то насквозь ложно-пафосный, умиленный (чего стоит строфа: «шахтерский город — добрая душа, поняв, что ладить с высотой не просто, воспитывал в мальчишке не спеша (?) настойчивость, и дерзость, и упорство»).

Гораздо ближе к главной тональности сборника оказался отрывок из поэмы «Беспокойство», посвященный солдату революции Оскару Орбету, который умирает в зале комсомольской конференции, сказав молодежи слова о Ленине, революции, коммунизме, оставив на самодельном мольберте незавершенный портрет Ильича. Однако отрывок анализировать не будем. И цели поэмы, и исполнение по нему полно не представишь.

Другое дело — книга. Больше половины ее состоит из новых стихов. Как говорится в предисловии, сборник — это не избранное, не итог. Правильно, это очередной сборник, по которому, как по очередному кольцу на дереве, можно судить о росте. «Четыре дождя» отчетливо свидетельствуют о динамике поэтической зрелости, о мужании гражданственных качеств и углублении психологического поиска в лирике Игоря Киселева.

Новая поэтическая книжка — праздник не столько для поэта, сколько для читателя, любящего стихи. Автор, как я полагаю, иначе воспринимает выход своих произведений, ведь творчество его — неостановимый процесс, до празднования ли. Читатель — другое дело. Вот я прочел «Четыре дождя», заодно перечел две его прежние книги. Вспомнил «пушкинский день», подаренный мне и познакомивший с интересным поэтом.

Теперь поэзия Игоря Киселева интересует меня все больше. Поэтому, перефразируя автора трех сборников, задаю вопрос:

А как же с четвертым,
Четвертым,
Что станет?..

Каким будет ответ поэта? Ведь тут наши с ним интересы смыкаются.

В. КОПЫЛОВ

„ПЕРВОИСТОКИ“

«Встречи» Александра Пинаева, вышедшие в Кемерове в 1955 году, были и первой встречей автора с читателем, встречей не во всем состоявшейся, но обнадеживающей. Мы не знаем, какие пробы предшествовали стихам этой книжки, они, бесспорно, были, потому что со страниц сборника с нами сразу заговорил не новичок в поэзии, а человек зрелый, со своим взглядом на вещи, со своими понятиями о задачах творческих поисков.

Отдав дань традиционным темам, Александр Пинаев задушевно и доверительно повел речь о пережитом, увиденном. Строители, землепроходцы, геологи. Люди таежной закалки, влюбленные в суровый сибирский край, — вот с кем познакомил нас кузбасский лирик. Не понаслышке знает он об этих людях, он сам из их «породы».

Эпическо-бытовые интонации, неторопливое слово наиболее близки Александру Пинаеву. Правда, эта неторопливость, уместная в «Былине» или «Ермаковце» (фрагменты из поэм), оборачивается внутренней вялостью, эмоциональной скупостью в некоторых стихах о любви и природе.

Как ни покажется парадоксальным, но с годами лирическое начало в стихах автора становилось более ощутимым. Видимо, сказался отход Александра Пинаева от сатирического жанра, которому он отдал во «Встречах» щедрую дань, явственное обнажилось сокровенное, подспудное.

В «Неяне» (1973 г.) читаешь юношески задорные стихи:

Я нашел в лесу подкову.
Предрассудков не тая,
Эту стертую обнову
На стене повесил я.
Но она, само собою,

Не вписалась в тихий быт.
Это — небо голубое,
Это — звонкий стук копыт,
Это — лес,
 степной поселок,
Это — свежий,
 санный след,
Это — я скачу веселый,
Это — мне семнадцать лет!

И рядом с этим стихи о зрелом, вечно беспокойном чувстве:

Не хочу я того, чтобы ты присмирела,
Не давай мне покоя ни часа, ни дня.
Говори: «Уходи!»
Говори: «Надоело!»
Говори, что не стоило верить в меня.
Будь сто раз неправа!
Одного лишь не надо:
Не стихай! И меня, все поняв, не жалеи.
Трудно было мне в дни моего листопада.
Видеть твой листопад — мне еще тяжелей!

Вторая встреча Александра Пинаева с читателем состоялась через девять лет. «Синегорье» (1964 г.) — преимущественно книжка лирических пейзажей. Этим она выгодно отличается от первого сборника, где нет строгого композиционного замысла, где преобладает дидактика, и любопытные сами по себе наблюдения не всегда получают поэтическое звучание.

«Синегорье» — гимн тайге, заповедным уголкам природы, не стареющим душой романтикам, жадным до земных впечатлений. Добрые, душевные люди, которые по-настоящему понимают и ценят родную землю, населяют книжку Александра Пинаева. Автор исподволь, ненавязчиво затрагивает то са-

Мое дорогое, что ассоциируется с понятием
гражданственности, Родины, России:

Летит ручей стремглав по круче.
Войдешь в него — сбивает с ног.
Все здесь огромно, все могуче.
Нрав у тайги и горд, и строг.
Порой вспылит, как недотрога.
Но ты к ней ближе приглядишь,
Найди к ее душе дорогу
И, полюбив, любви всю жизнь.

За каждым пейзажем угадываешь вол-
нующий мир человека, его раздумья, поиски
добра, истины:

Я люблю, когда лед ломается,
Мне дороже любых наград,
Когда в ком-то вдруг открывается
Дорогой человек и брат.

Романтичный, вдумчивый, всякого пови-
давший на веку, лирический герой Александ-
ра Пинаева любит экскурсии в свою юность,
любит сравнить минувшее с тем, что видит
сейчас. Ему нравятся наследники его дел,
созидательных, творческих, но он со светлой
грустью вспоминает своих сверстников и по-
доброму ревнив к сегодняшнему поколению:

Я замечаю: становлюсь ревнивым.
По-стариковски я, из-под очков,
Поглядываю все на новичков
И спрашиваю молча их: «Чем живы?»

Груз опыта порой кажется автору не очень
приятной ношей. В его душе — постоянная
тяга к первоистокам, дабы яснее проступила
«живая суть». Не случайно его третья книж-
ка очень точно названа «Первоистоки»
(1968 г.). Без этих внутренних «заездов» в
прошлое трудно осмыслить настоящее, слож-
но заглянуть в будущее:

Но твой запас привычных истин
С налетом пресным и сухим
Неплохо б оживить, подкислить
Незнанием терпким, молодым.

И я в сплетении событий
И всех забот у нас в дому
Сейчас протягиваю нити
К первоистоку моему.

Горьки и отрадны, поучительны картины
первоистоков: детство времен гражданской
войны; мужественные будни Кузнецкстроя
(«Уля»); незаживающая рана матери Анны,
потерявшей в войну мужа и сына... Да мало
ли их, впечатлений, жгучих, разных, властно
требующих отзвука в душе, зовущих к пись-
менному столу. Всего непростительней тут
спешка, фальшивая нота:

Я живу, я дышу,
я обязан
Жить, дышать
за себя и за них.
Должен я
отыскать недосказанный
Не написанный
павшими стих!

Поиски мучительны. Автор строг к себе,
его не покидает чувство моральной ответст-
венности за все, что было до него и делается
сейчас. Кажется, сама природа молчаливо
испытывает его на духовную крепость:

Смолит темными глазами
На меня вечерний плес.
Был ты черным.
Стал ты белым.
Как ты прожил?
Что ты сделал?
Что принес
и что унес?

Александру Пинаеву свойственны стихи-
раздумья, построенные на реальной, лишен-
ной каких-то досуных книжных умствований
основе. Это очень земная поэзия, не лишен-
ная уместной шутки, иронии, народно-быто-
вого колорита. Автор традиционен в хоро-
шем смысле этого слова. С особой любовью
пишет он о скромных открытых сердцем лю-
дях, которыми так богата наша земля.

Как живую, видишь, к примеру, девушку

Улю, пришедшую из деревни, чтобы строить завод. Поначалу застенчивая, неуверенная в себе, она становится опытным мастером своего дела, завоевывает признание рабочих.

С большой симпатией относишься к милым славным «чужакам» — охотникам, рыбакам, пчеловодам, ближе других стоящим к матери-природе. Тема «Человек и природа» дорога автору. Это чувствуется по многим его произведениям.

Новый сборник стихов Александра Пинаева «Неяна» — во многом итоговый, в него вошли лучшие стихи и поэмы, с которыми мы встречались в прежних книжках и, разумеется, новые вещи (главы из поэмы «Преодоление», стихи «Три загадки», «Живое слово» и т. д.). Радует строгий авторский отбор, не замечаешь (за редким исключением) вещей случайных, «проходных». Определилось тяготение к стиху лаконичному, четкому по мысли, зримее проступает идейная позиция автора:

Несвязный говор собственной души
Оставь в себе. Об этом не пиши.
Не выдавай разброд свой за исканья

И говорить о шквале не спеши,
Когда вода не дрогнула в стакане...

И в заключение хочется привести еще одно стихотворение из «Неяны». Восхищаясь достижениями современной медицины, поэт высказывает на этот счет свою точку зрения, выстраданную ценой всей жизни и поэтому особенно дорожую:

Если мне когда-нибудь заменят
Сердце, отслужившее свой срок,
Встав с больничной койки в день
весенний,

Поклонюсь тому, кто мне помог
И вернул мне осени и зимы,
Белый гребень на речной волне.
Только будет жаль мне нестерпимо
Сердце то, что есть сейчас во мне.
Сколько оно правды подсказало
Той, что разум подсказать не мог.
Никогда за то не упрекало,
Что его всю жизнь я не берег.

Не эпиграф ли это ко всему, что написано
Александром Пинаевым и будет еще им сделано?

В. МАТВЕЕВ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

О товарище своем Викторе Чугунове, писателе божьей милостью, положу руку на сердце, буду говорить хорошо — он того заслужил. Жизнь его оборвалась трагически в декабре прошлого года. Мы не успели еще привыкнуть к мысли, что его нет. Он оставил нам свои книги, целый мир, нарисованный талантливой рукой.

Впервые о Викторе Чугунове я услышал на Кемеровском совещании молодых литераторов Сибири, Урала и Дальнего Востока весной 1966 года. Один из семинаров вел известный мастер прозы Сергей Антонов. Виктор Чугунов приехал в Кемерово без официального приглашения и прочитал свой рассказ «Локомотив». Уже под занавес, когда программа заседаний была исчерпана, Сергей Антонов, искушенный в литературе человек, сказал тогда: «Это писатель».

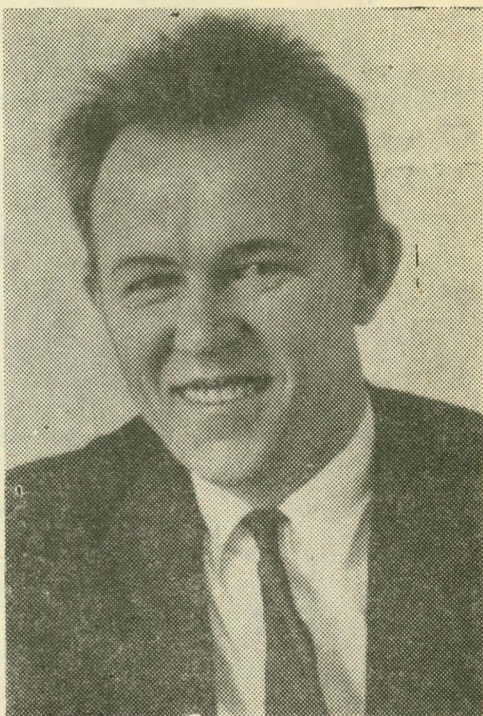
И не ошибся.

Спустя короткое время Виктор подготовил для издания сборник рассказов «Полметра до катастрофы», написанный сурово, с нахмуренными бровями.

Мне довелось редактировать эту рукопись. Мы спорили с автором о том, всю ли правду надо нести читателю, в том числе самую тяжелую. Покойный не терпел в своем творчестве компромиссов. Но, помоему, он скоро понял: истина всегда лежит где-то посередине. Понял, и последние его вещи несли в себе доброту и участие к людям. Он мог сделать еще очень многое. Он лишь брал разбег. Но судьба распорядилась иначе.

На его столе остались незаконченными романы, рассказы, сценарии. И никто их уже не закончит, потому что писательство — сугубо индивидуально.

Ушел от нас талантливый, ясный человек. Скорби о нем нам хватит надолго, мне — до конца моих дней.



Геннадий Емельянов

ПРИГЛАШЕНИЕ

28 коп.

«СЛУЖЕБНЫЙ РАБОТНИК»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РАССКАЗЫ И
ПОЭМЫ ПИСАТЕЛЯ-МАСТЕРА
«СЛУЖЕБНЫЙ РАБОТНИК»

В журнале «СЛУЖЕБНЫЙ РАБОТНИК» вы можете встретить рассказы и поэмы, посвященные труду и профессионализму, а также произведения, посвященные жизни и творчеству писателя-мастера «СЛУЖЕБНЫЙ РАБОТНИК»

В 1974 ГОДУ
В КЕМЕРОВСКОМ КНИЖНОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ

«ТРУДНО, ПАРЕНЬ...

Повести и рассказы Олега Павловского

«СКРИПЯЩИЙ КЛЮЧ»

Стихи Любови Никоновой

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ»

Стихи Валерия Зубарева

КЕМЕРОВО 1974

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИБИРЬ»